

Третий поезд.

Геннадий Фиш

*(Избранные произведения в двух томах, том 1, Москва 1976.*

*Копия 14 января 2005 г. — не проверена.)*

## I.

Сенаторы бежали на север.

Белые отряды в Вазе атаковали русские казармы.

Красногвардейцы в Хельсинки заняли здание сейма.

Да здравствует революция!

Законники отлично все предвидели. Перед тем как напасть на нас, они угнали десятки продовольственных поездов на север, а мы остались без муки, без хлеба...

Эх, надо было действовать нам раньше, и действовать решительнее. Мы слишком тянули. Главной — начать.

— Да здравствует революция!

Это кричит во всю силу своих легких приятель мой Линола; у него на шапке красная ленточка, красная розетка в петлице и красны треугольный флажок на штыке. И у меня тоже на шапке, и в петлице, и на штыке красные лоскутки. Мы — красногвардейцы вокзального отряда.

— Ступай, — говорю я товарищу Линола, — ведь не все сенаторы бежали, не все старофинские и свинхувудские зубры ушли на север. И здесь где-нибудь они таятся. Кто-нибудь же должен их арестовать. Почему бы нам с тобой не заняться этим делом?

— У нас нет на это приказа, Эйно, — отвечает мне Линола. Но я по его загоревшимся глазам вижу, что ему чертовски хочется ввязаться в это дело.

— Э, пока будем ждать приказа — они разбегутся, как тараканы.

Мы достали список сенаторы и депутатов сейма. Вычеркнули фамилии бежавших — не слышать бы о них больше никогда! — узнали адреса тех, кто, по нашему мнению, должен был бы проживать еще в городе.

Квартира первого депутата, к которому мы пришли, была заперта. Мы звонили так, что чуть не оборвали звонок. Прислушивались — не услышим ли хотя бы робких шагов за стеною... Тишина.

— Надо взломать дверь и произвести обыск, — говорю я.

— У нас нет для этого предписания, — отвечает присоединившийся к нам дороге красногвардеец.

Я звоню в штаб отряда:

— Что делать?

— Оставить одного часового в ждять дальнейших распоряжений.

И мы, оставив дежурного с винтовкой, пошли дальше.

С Александровской мы пошли на Обсерваторную. Нам сразу же открыла дверь миленькая барышня.

На ее прическе была белая наколка горничной. Когда Лиола назвал ее «товарищ», она широко раскрыла глаза.

— Где твой хозяин? — спросил Лиола.

— Мой хозяин болен. Он лежит сейчас в лечебнице Кельберга на Фабианской улице, — вспыхнув, ответила она и захлопнула дверь перед нашим носом.

Третьего депутата тоже дома не было, и неизвестно, куда он скрылся.

Дородная его жена суетливо беспокоилась и спрашивал, не известно ли нам, где находится ее муженек, — не убили ли его пьяные матросы?

— Сударыня, — возмущенно сказал ей Лиола, — предлагаю вам не распространять буржуазной клеветы на наших товарищей, революционных моряков! Они помогли нам добиться независимости, и они помогут нам справиться со всей буржуазной шайкой.

Депутатша всплеснула своими короткими руками и еще больше забеспокоилась:

— Что вы, что вы, родные...

Мы не стали слушать ее болтовню. Мы спешили уже по другим адресам.

И вот опять в одной сенаторской квартире сказали нам:

— Сенатор очень болен. Он находится на излечении в частной лечебнице.

На той же площадке, к нашему счастью, находилась квартира и другого подозрительного депутата.

Начищенная медная дощечка сияла.

Дверь приоткрылась.

Лиола дернул за ручку, дверная цепочка натянулась до отказа. «Странно, почему всюду встречают нас только женщины?»

К сожалению, господина нет дома. Он болен. Он находится на излечении в одной частной лечебнице.

— Слишком много больных сенаторов и депутатов в один день, — говорю я.

— Животы от страха свело, — шутит Лиола.

И я вижу, что лицо его позеленело. Он хватается рукой за перила.

— Что с тобой, Лиола? — пугаюсь я за товарища.

Дверь по-прежнему полуоткрыта, и из-за нее глядит пара любопытных глаз.

— Сейчас пройдет, — побледневшими губами шепчет Линола. — Тошнит немного. Понимаешь, второй день хлеба не видел. — И он выпрямляется.

Он старается улыбнуться.

— Да вы бы так и сказали сразу, зачем вам нужен мой муж — как будто даже обрадовалась женщина и захлопнула дверь.

Мы начали спускаться по лестнице. Вдруг дверь депутатской квартиры снова отворяется. Женщина кричит нам вслед:

— Постойте, парни, куда вы? Возьмете вот это! — Она протягивает нам два ломтя свежего пшеничного хлеба.

У меня прямо засосало под ложечкой.

«А вот почему они против максимальных цен, против введения карточек...»

— Возьмите хлеб, — говорит нам женщина.

И тогда Линола оборачивается и кричит ей:

— Замолчите!

А мне приходит в голову мысль спросит ее, чем же, наконец, болен ее муж и в какой лечебнице его лечат.

— Почки и печень, — быстро, словно вызубренный урок, отвечает она. — Фабианская улица, лечебница Кельберга... Возьмите хлеб...

Тогда Линола щелкает затвором винтовки, и женщина, воскликнув: «Господи!» — быстро захлопывает дверь.

Я поднимаюсь обратно на только что оставленную нами площадку и стучу в дверь соседней senatorской квартиры.

— Что ты делаешь? — хочет остановить меня Линола. Он уже совсем оправился. — Мы ведь здесь уже были.

— Да, были. Это ничего не значит, — отвечаю я.

И снова распахивается дверь.

— Извините, мы забыли спросить, чем болен господин senator и в какой лечебнице его пользуют.

— Почки и печень. Фабианская улица, частная лечебница Кельберга.

И дверь закрывается.

— Ты понял, — говорю я Линола, — чем болеют правители? Почки и печень.

Мы идем обратно, к первому законнику. Слова открывает нам дверь горничная с наколкой.

— Я уже вам все сказала, — говорит она, увидев нас на площадке. — Чего вам еще надо?

— Мы пришли полюбоваться тобой и разъяснить тебе, деревенщина, закон тридцать первого января,<sup>1</sup> — шутит Линола.

И щеки горничной краснеют. Она опускает глаза.

— Извольте сказать, чем болен ваш хозяин? — говорю я официальным голосом.

— Печень и почки.

— Фабианская. Частная лечебница Кельберга, — подхватывает ей в тон Линола.

Девушка смущенно молчит.

— Ну?

— Зачем вы спрашивает, если уже справлялись в лечебнице, — говорит она и закрывает дверь.

Мы один на площадке. Линола начинает смеяться.

— Подожди, — говорю я ему, — нам еще хватит времени посмеяться.

И мы снова заходим к толстушке, которая хотела нас разагитировать. Она уже больше не суетится, не беспокоится.

— Мне только что позвонили по телефону, и я знаю, где муж. Он заболел. Был вчера вечером у друзей... Припадок. Его отвезли в частную лечебницу Кельберга на Фабианской улице. Знаете, возраст такой... В ваши лета это трудно понять. Вы прислушиваетесь только к самым крайнем мнениям. Совсем как мой муж в молодости. Он даже за это пострадал во времена Бобрикова...

Но мы не слушаем ее дальнейших разглагольствований и быстро спускаемся вниз по лестнице на свежий, морозный воздух. Все тело кажется необыкновенно легким, но винтовка тяжела, и очень хочется есть.

— Надо немедленно сообщать штабу о том, что готовится заговор и контрреволюционные вожаки собираются в лечебнице Кельберга. Вот хорошо — мы всех их одним махом и накроем.

Когда мы проходили мимо железнодорожной площади, меня кто-то громко окликнул. Это был начальник отряда Красной гвардии, в котором находились Линола и я.

— Это безобразие, товарищи, вы подрываете дисциплину: уходите из отряда без спросу. Вы должны быть сейчас на вокзале... А тебя, Эйно, я уже два часа ищу по очень важному делу. — И, не дав нам промолвить слово в свое оправдание, начальник спрашивает меня: — Ты говоришь по-русски?

— Как же, — с радостью отвечаю я. — Я с двенадцатого года ездил проводником Хельсинки–Пиетари. Но жандармское управление в пятна-

---

<sup>1</sup>Революционный закон, уничтоживший все прежние, полукрепостнические законы о домашней прислуге.

дцатом году запретило мне появляться в России за провоз нелегальной литературы, и тогда меня запрятали в Рованиеми, а с шестнадцатого года я здесь старший рабочий — приемка груза из России по русским накладным.

— Ну вот, значит, я не ошибся. Все в порядке. Ты получаешь срочное назначение в Россию.

— Товарищ начальник, что же это такое, здесь у нас революция, каждый красногвардеец нужен, а меня отсылают подальше от боев?...

Тогда начальник улыбнулся и сказал:

— Тебе дается очень важное поручение. Отправляйся немедленно в железнодорожное управление, скажи, что тебя направил я.

Я пошел, куда мне было приказано, а Линола заторопился в центральный штаб Красной гвардии: сенаторы должны быть разоблачены.

Раньше в комнатах железнодорожного управления царил мертвый порядок, скрипели перья чиновников, стучали ундервуды, шуршали казенные бумаги. Теперь же люди суетились, переходили из комнаты в комнату быстрыми шагами; столы в некоторых кабинетах были сдвинуты; в одной комнате вповалку, прямо на полу, спали красногвардейцы. В комнате, куда меня послал начальник, было очень оживленно. Люди о чем-то спорили между собой.

Я подошел к столу, за которым, по-моему, должен был сидеть старший, и отрекомендовался.

Старший спросил, понимаю ли я по-русский.

— Понимаю.

— Отлично. Тогда знакомься. Это будет твой комиссар. — И он указал на высокого, крепкого человека, самоуверенного, я бы даже сказал — важного.

Оказалось, он старший кондуктор. А кто из старших кондукторов не выглядит важным человеком? Несколько раз работал я в его поезде. Но тогда я даже подумать не мог, что Карвонен — член партии.

— Куда меня назначают? — спросил я.

Товарищ Карвонен спокойно вытащил из кармана пиджака истрепанную буржуазную газетку и сунул мне под нос записку, обведенную синим карандашом.

В записке говорилось о том, что година страданий финского народа продолжается, что один субъект, некто Рахья, привез в Хельсинки поезд со спиртом. Другой, брат его, Иван Рахья, доставил транспорт оружия, целый поезд. И в заключение записка иронически выкликнула, не найдется ли где третий брат, который доставил бы голодающим финнам поезд с хлебом.

— И он нашелся, третий брат, Яков Рахья, — весело сказал товарищ Карвонен.

Машинист Яков Рахья, посоветовавшись с братьями, предложил послать в Россию товарные составы, маршрутные поезда за хлебом: русские рабочие нам помогут.

И он сам пошел на первом поезде комиссаром.

Второй поезд отошел уже с неделю, третий уходит сегодня ночью. Не хватает только начальника охраны поезда — красногвардейца, понимающего по-русски, слесаря для ремонта и кухарки.

Но начальник охраны уже нашелся!

У меня мелькнула мысль о тебе, Тюне, о том, что ты могла бы на нашем поезде готовить обеды для команды, и о питерском друге моем, слесаре петроградского депо Ване Заливине, Иван Фаддеевиче. Фаддеевич — это отчество. То есть так звали отца Ивана. Очень удобный обычай у русских — отчество. Сразу узнаешь имя и человека и его отца.

— Я добуду недостающих. Слесаря возьмем на петроградского депо, Заливин. Ручаюсь, не откажется. А в кухню — мою невесту.

Карвонен улыбнулся и буркнул в подстриженные усы:

— Невеста... а Мальме предлагает взять с собой его жену. Ну ладно, чья скорее придет, та и поедет.

— Можно в охрану зачислить товарища Линола?

— Я сказал, что уже все укомплектовано, — многозначительно ответил старший.

И в этот момент в комнату вошел человек в форменной фуражке телеграфиста и передал ему телеграмму. Карвонен быстро её надорвал и просиял:

— Рахья сообщает, что все в порядке, поезд его прошел Екатеринбург.

И тогда замолчавший на несколько минут спорщик снова подал голос:

— Все в порядке только до тех пор, пока дело дойдет до хлеба. В прошлом и позапрошлом году уже задерживали хлеб, закупленный на наши кровные деньги, а тогда продовольственное положение там, в России, было куда лучше, чем сейчас. Помню, я закупал отдельными мешками в разных местах муку, загрузил ими баржу на Неве, на Калашниковской набережной, чтобы в Сортавалу отправить, и что же: кто-то донес, и все пошло прахом — в последнюю минуту конфисковали. Так было еще в позапрошлом году, а теперь там голод — мне ребята рассказывали. Дадут они вам хлеба, как бы не так! Не обольщайтесь! — И он скептически усмехнулся.

Спор вспыхнул с новой силой — люди, очевидно, имели много свободного времени, а мне нужно было бежать скорее к тебе и успеть заглянуть домой, чтобы захватить чистую пару белья и чемоданчик.

Медленно снежок падал на тротуар, на мостовую, мельтешил перед глазами. Было уже почти совсем темно, но фонари почему-то медлили зажигать. И окна высоких домов освещены были меньше, чем всегда.

Ты встретила меня смущенная и радостная.

Я не в силах был ждать, пока мы дойдем до твоей комнаты, и поцеловал тебя в коридоре.

Это, наверно, ты запомнила. Тюне, милая, ты меня поцеловала в ответ! Это запомнил я.

Ты сказала, что сегодня сыта, как раз перед этим вернулась из отряда, а там каши было вдоволь, и еще рассказала, что записалась красной сестрой милосердия и скоро должна уезжать на фронт, поближе к Тампере.

— А я думал, что ты со мной на поезде поедешь в Россию.

— Дезертировать? — строго сказала ты.

— Да нет же. — И я объяснил все, что мне было известно, и руки мои держали крепко твои тонкие пальцы.

Господи, до чего ты была хороша! И, разумеется, как всегда, во всем права. Конечно, тебе на поезд нельзя: ты едешь на фронт. Что ж, на этот раз Мальме повезло больше, чем мне... Ты была весь этот вечер такая хорошая, что я не знаю, как хватило у меня сил и смелости расстаться с тобой! И, пожалуй, я сделал это преждевременно: мы могли бы пробыть вместе еще десять минут.

— Товарищи! — сказал нам на прощание народный уполномоченный. — Торопитесь исполнить порученное вам революцией дело. Хлеб нужен революции до зареву. Без него нам будет трудно победить. Возвращайтесь скорее, и еще раз повторяю — скорее!...

Когда скрылись последние семафоры, я огляделся и постлал себе постель. Другие уже спали или лежали молча.

## II.

Всегда, когда схлынут первые секунды волнения при отправке поезда, в голову приходят мысли о последнем дне оседлой жизни и о том, что слышал и видел в день отъезда.

Ну, разумеется, были мысли о том, что надо доставить нашим хлеб возможно скорее, чего бы это ни стоило. Я думаю, что это сделать будет не так трудно. Тем более что денег комиссару дано предостаточно. Думалось и о тебе, конечно...

Сейчас уже ночь. Вторая. Только я вышел на большой, совсем не освещенной станции Званка из своего вагона, чтобы отправить тебе телеграмму, как пришлось комиссару вызволять меня из беды.

Я написал: «Дорогая любимая Тюне помню тебя и люблю твой навсегда Эйно» — и подошел с этой запиской к телеграфному окошечку.

Окошечко распахнулось, и телеграфный чиновник осторожно взял мою бумажку, затем, окинув ее быстрым взглядом, даже не прочитав, швырнул обратно:

— Нужна печать. Без печати не берем.

— Помилуйте, да ведь это частная телеграмма!

— Частная? — И лицо его проникается сочувствием ко мне. — У нас установлена очередь: сначала идут телеграммы железнодорожные, потом военные, затем... — он поднял угрожающе палец, — правительственные, то есть советские, за ними — партийные, за партийными — других организаций и учреждений только при наличии печати, и уже после всех этих мы отсылаем частные депеши. Только смею вас уверить, что мы не успеваем даже правительственные... Вот. — И он захлопнул окошечко перед самым носом.

Я снова постучал в окошечко и так вежливо, как только мог, попросил телеграфиста:

— Пожалуйста, очень вас прошу, примите эту телеграмму. Будьте добры, если до нее очередь не дойдет сегодня, в крайнем случае отправьте ее завтра. Это очень важно для меня, товарищ...

— Какой я вам товарищ, гражданин? — сухо сказал он и отвернулся.  
— Я думал, что вы интеллигентный человек, и все разъяснил, а вы — «товарищ»!

— Но поймите, это важно.

Он взял записку, медленно прочитал. И затем рассмеялся:

— Любовная телеграмма в наши дни!

Но вдруг он оборвал смех, сразу стал необычайно серьезным и, приблизив бумажку к лампочке, снова прочел мою записку. Потом поманил меня пальцем и, наклонившись к самому моему уху, жарко зашептал:

— Телеграмма-то, значит, шифрованная! Понимаю: частная... Говорите — важная. Ладно, ладно, отправим мне очереди. Только уж и вы в случае чего... — и он подмигнул мне, как сообщнику, — только уж и вы в случае чего не забудьте обо мне.

— Да нет же, ручаюсь вам, что дело чистое.

Услышав это, телеграфист забеспокоился пуще прежнего. И, высунувшись из окошка, громко позвал дежурного красногвардейца-железнодорожника, гулко шагавшего с винтовкой через плечо по темному залу станции.

— Вот арестуйте этого субъекта, он подает мне шифрованную телеграмму и утверждает, что дело серьезное. Должно быть, какой-т важный контрреволюционер, казачий офицер... — затараторил он красногвардейцу.

Тот взял меня за плечо:

— Пойдемте, гражданин, в штаб.

— Да ручаюсь вам...

— Там разберут. Нынче время ответственное и подозрительных людей немало, идемте...

— Вот вам улика. — И телеграфист сунул красногвардейцу записку. Тот прочитал ее и окончательно уверился в моей вине.

— Таких телеграмм нынче не посылают, — сказал он и снова тронул меня за плечо.

Все мои слова и объяснения были напрасны. Я услышал гудок нашего паровоза. Поезд собирался уже уходить. Неужели я так глупо застряну на этой грязной станции?...

Но в последнюю минуту меня увидел комиссар. Он предъявил свои документы красногвардейцу и быстро уладил дело.

Переводчиком пришлось быть мне, потому что, когда комиссар начинает быстро разговаривать по-русски, он вставляет в русскую речь шведские слова...

Для него они тоже иностранные, не родные. Когда он быстро говорит по-шведски, он в свою речь вставляет уйму русских слов. И при этом думает, что говорит отлично и всякий обязан его понимать.

— Видишь ли, Эйно, — сказал мне комиссар, когда мы уже сидели в теплом и уютном купе мягкого вагона, — здесь революция, а для революции, наверно, всякая любовная телеграмма — шифр.

— Но телеграфист — просто дурак!

— Дурак в революции — вещь опасная! — приподнял в улыбке свои седоватые подстриженные усы комиссар. — Однако и ты, Эйно, был не очень умен... Ну, не обижайся, закурим, что ли... — И он стал набивать вкусным табаком свою трубку.

И вот телеграмма моя не догонит тебя, милая Тюне, ни в Хельсинки, ни в отряде, куда ты сейчас, наверно, уже выехала. А я обещал тебе все время давать о себе весточку. Буду писать для тебя, дорогая, о нашем поезде, о товарищах, которые посланы вместе со мной добывать хлеб, и о том, что с нами случилось в пути... И когда мы доставим хлеб в Хельсинки, чтобы накормить голодающих — не так, как Христос пятью хлебами, а сорока вагонами: перед нами идут уже два поезда, и в каждом тоже по сорок вагонов, и после нас пойдут другие поезда, — я крепко-крепко поцелую тебя, как позавчера, и протяну тебе эту тетрадку. И когда ты будешь читать ее, тебе станет ясно, как я тебя люблю, как много думал и мечтал о тебе в этой неожиданной поездке.

Записываю эти слова, а колеса стучат на стыках, дым пролетает хлопьями мимо окна.

Почерк мой неразборчив, потому что поезд трясет. Товарищи мои засыпают, некоторые уже храпят.

Вот каков наш поезд: впереди, как водится паровоз № 607-КЗ.

На здешних станциях машинисты сбегаются, чтобы посмотреть на него, такой он необычный: медная отделка блестит, труба у него пошире, чем у русских, фонари другие и спереди предохранители, решетка построена углом. Тебе это не так уж интересно, а русским машинистам любопытно.

Багажный вагон обшит жестью. Там у нас сложены инструменты: ломы, лопаты, ключи, отвертки, обтирочное тряпье.

Вагон проходной, и сразу за ним такой же багажный, но мы его превратили в кухню. Здесь хранится наш общий продуктовый паек. На каждого понемногу, а вместе получается внушительно. Людей на поезде — поездная бригада и паровозная — тридцать человек.

Мы должны идти безостановочно. И все время со своим паровозом — расчет на четыре смены. Да еще нас, охраны, десять человек. Видишь, какая большая компания. Так что поварихе нашей, Мальме, будет нелег-

ко накормить нас, хотя ей и дан в помощь уборщик. Ей уже за тридцать — на целых десять лет старше тебя. Но, пожалуй, тебе бы так не управиться с этой работой. Она служила раньше в ресторане Брунспарка.

Потом идет спальный мягкий вагон второго класса. Здесь помещается поездная бригада. В отдельных мягких купе — койки с чистым бельем. Это последний проходной вагон. Из него можно пройти на паровоз, но назад, к хвосту, уже нельзя. За ним идут сорок двухосных товарных вагонов, и в самом последнем, в помещении, обычно приспособленном для кондукторских бригад, находится мое красногвардейское отделение — охрана поезда.

У нас хуже помещение, чем у поездной бригады, но если бригаде надо все время работать, то нам, наверно, больше придется отдыхать.

В задней части вагона устроено возвышение, и, взобравшись туда, можно увидеть весь наш длинный состав — крыши всех вагонов — до самого паровоза.

Да, у ребят в пути, наверно, будет много свободного времени, и можно заняться политической работой. У меня с собой Коммунистический манифест и программа партии.

Выехали мы из Хельсинки вечером. Утром пришел наш поезд в Петроград, и комиссар мне говорит:

— Обещал добыть слесаря. Добывай!

Я сразу отправился за Ваней Заливиным. Застал в депо. Объяснил, в чем дело. Он вымыл керосином руки и сказал:

— Еду, значит, хлеб революционным финнам добывать — есть такое дело! Никто здесь обо мне плакать не будет. Нет таких людей.

Так Иван Заливин попал на наш поезд.

Пока мы разговаривали с комиссаром, пришла из кухни рассерженная Мальме:

— Как я буду кормить такую ораву, когда у меня почти нет посуды? Придется в пять очередей.

Тут Заливин ударяет себя ладонью по лбу:

— Сколько еще простоим, товарищ комиссар?

— Часа четыре, не больше.

— Идем, — говорит он мне.

И мы выходим на перрон.

— Куда мы? — спрашиваю я.

— Молчи, не твое дело.

И мы подходим к высокому дому. Он указывает на вывеску:

«Гостиница «Меркурий» — ресторан до трех ночи...»

И мы входим в эту гостиницу, проходим через пустой ресторан.

— Рано еще, товарищи, да и позже тоже ничего не будет, — пытается остановить нас старый официант.

Но Ваня вежливо отстраняет его, и мы входим в буфетную. За зеркальными толстыми стеклами свежевывмытые тарелки, металлические подносы, огромные блюда, соусники, расписные чайники, кофейники, перечницы и горчицницы.

— Открывай буфет! — командует буфетчику Заливин.

— Рано еще, — пренебрежительно отвечает тот, но, увидев, что Ваня вытаскивает из кармана револьвер, изменяет тон и уже предупредительно: — Да все равно здесь никакой еды вы, товарищи, не найдете. Одна только посуда.

— Вот ее-то нам и надо, — спокойно отвечает Ваня.

И мы берем тарелки, блюда, кастрюльки, ложки, ножи, вилки.

— Дай корзину! — командует Ваня.

Буфетчик, перепуганный, достает откуда-то большую корзину.

— Вы дадите расписку о том, сколько чего захватили? — спрашивает он. — Посуда-то не моя... Акционерного общества.

— Дадим, — цедит сквозь зубы Ваня.

И мы наполняем корзину посудой.

Заливин одной рукой укладывает тарелки, в другой руке у него браунинг.

Все уложено. Корзина тяжела. Ее трудно поднять. Буфетчик уже приготовить нам расписку — остается только подпись. Ваня подмахивает ее, даже не взглянув, даже не пересчитав посуды...

Радость нашей поварихи была неописуема.

— Как это не я, Мальме, а Ваня Заливин, прошу любить и жаловать!

Мальме признательно взглянула на моего приятеля. И он мне подмигнул — идем! Мы быстро добрались до Невского проспекта.

Опять Ваня не сказал мне, что он затевает. Однако было ясно, что минуты у нас считанные. Но торопиться трудно: лед с тротуаров не был сколот, огромные сугробы высились у тротуаров.

Ваня всю дорогу, не переставая, болтал:

— Странные вы, финны. Как в такое, самое холодное время без зимнего пальто живете? Правда, у вас никто шуб не носит?

— Почти никто.

— Хладнокровный народец, — продолжал он.

А надо сказать, что на его было истрепанное демисезонное пальтецо и мерз сам отчаянно.

Иногда он останавливался, чтобы подышать на руки.

Я не узнавал Петрограда. Совсем другой облик. На Невском неубранные сугробы. Этого раньше не было. Но зато сколько народа на централь-

ных улицах в картузах, в кепках, в ушанках и почти ни одной шляпы, ни одного бобра... Все рабочая публика... Иные с винтовками за плечами. И как держатся! Не так, как раньше: сторонкой и потише, — нет, идут, не озираясь, громко разговаривают, весело смеются — осанка не та. И даже чужому человеку заметно — ведут себя как хозяева. Словно воздух другим стал.

Скользя, падая, поддерживая друг друга, мы дошли до Морской. И Ваня затащил меня с собой в книжный магазин.

Он купил толстую книгу, расплатился за нее деньгами, похожими на почтовые марки, и мы снова вышли на улицу.

— Куда?

— Обратю, на поезд, дело сделано, книга куплена.

— Мечтаешь в дороге читать?

— Нет, эта книга не для чтения. Это указатель железных дорог Российской империи: все расписания, карта и прочая штукавина.

— У вас расписания действуют?

— Не знаю. Но есть все станции и расстояния между ними, и указаны все станционные буфеты. Мы еще подзаправимся в дороге!

Пришли к поезду мы вовремя. Паровоз уже развел пары, и машинист выглядывал из оконца. Жезл был вручен, и поезд наш отправился. По соединительной Кушелевской ветке мы должны были перекочевать на русские дороги.

— Наши националисты хотели строить дороги другой колеи, чем русские, — сказал нам комиссар. — Они боялись умалить свою независимость. Как хорошо, что в борьбе за узкую колею националисты были разбиты и мы теперь можем прямо с наших финских дорог перевести транспорт на русские! Наше железнодорожное начальство вздумало тогда перехитрить русских. Положили более легкие рельсы и установили такие габариты, что русские тяжелые вагоны не всюду могут пройти. Их товарные вагоны загружаются только наполовину, наши ведь куда мельче. Эх, куда больше хлеба могли бы мы доставить в Суоми в большегрузных вагонах!

Колеса застучали по мосту.

Перед нами расстилался в сумерках Петроград. В окнах зажигались лампы. Церковь Бориса и Глеба и Александрo-Невская лавра поднимали к темному небу свои кресты.

Последний нынешний денечек  
 Гуляю с вами я, друзья,  
 А завтра рано, чуть светочек,  
 Заплачет вся моя семья... —

затянул Ваня Заливин.

Вот видны кирпичные амбары мировых лабазников.

Мы все, кто не работал, столпились в узком коридоре.

— Прощай, Калашниковская набережная!

Еще прощай, моя родная.

С которой три года гулял.

— Что он поет жалобное? — спросила наша стряпуха Мальме своего мужа. Но ответа не получила. Муж уже забрался на верхнюю полку в своем купе и мирно почивал.

— Эх, любят нас все-таки девушки! — снова прервал свою песенку Ваня и подмигнул Мальме.

Она смутилась. А Я вспомнил о тебе, моя Тюне.

По набережной шла похоронная процессия: гроб был обит красной материей, за колесницей шло много народу, несли красные знамена...

— Рабочего хоронят, наверно, от ран скончался, под Гатчиной был... Мы красногвардейцев нашего района со всеми почестями хоронили.

И Ваня снял шапку.

Мы сделали то же самое...

— Вот мы мост и проехали, — сказал комиссар. — Сколько из-за него споров и драк было. Англия и Швеция очень хотели, чтобы его строили. Швеция даже собиралась большие паромы к Турку пустить и дорогу построить в 1,625 метра шириной, как в России, вместо своих 1,067, чтобы вагоны без перегрузки могли идти Владивосток–Стокгольм, Ташкент–Стокгольм. Огромный транзит. Пассажирское движение в Англию и Америку из России тоже пошло бы через Швецию–Норвегию. От Петербурга до Лондона на целых двенадцать часов этот путь короче, чем обычный — через Германию. Ну, ясно: немцы изо всех сил этому противились. Им невыгодно было. Да и войну предвидели. Взятки давали, чтобы проект моста провалить. В шведском риксдаге из-за этого моста особые запросы министрам делали. Наши свинхувудовцы изо всех сил против этого моста боролись, государственные средства не хотели отпускать. Русским царем пугали, а оказывается, в России, кроме царя, еще и рабочие есть.

— Вот тебе и на! — с удивлением произнес Ваня, когда я ему перевел слова комиссара. — Совсем, кажется, простой, обыкновеннейший на вид мост, а столько из-за него разговора, суеты было.

Навстречу прошел русский товарный поезд. Ты знаешь, в России все товарные вагоны выкрашены в красный цвет.

Правда, странно? Вначале я думал, что это в честь революции некоторые поезда выкрашены, но Ваня Заливин, когда я ему это сказал, прыснул. Оказывается, это для них вполне обычно, а наши вагоны им кажутся странными. Дежурные на станциях изумляются: какой необычный состав прибыл. Мальчишки бегают по платформе и, показывая пальцами на нас, выкрикивают:

— Черный поезд, черный поезд...

— Сколько покойников везут, — сказал на станции Рыбацкое красногвардеец-железнодорожник другому, сплошь траурные вагоны.

Я сам видел, как один мужик, ехавший на дровнях по дороге вдоль полотна, остановил свою лошаденку, скинул шапку и стал быстро, мелко креститься.

Семафор открыт, и мы на всем ходу подъезжаем к станции и только у самой платформы замедляем ход. Остановка.

Дежурный, в фуражке с красным верхом, бежит около поезда и ругается всюду:

— Да как вы смеете, да как вы можете — мы принимали вас как товарный поезд, а вы на всем ходу подскочили к станции!

— У нас душа в пятки ушла, когда увидели, что вы таким ходом идете! — басит начальник станции. — Думали, что вы мимо проедете, а там состав с пути еще не убран. В чем дело?

— Да у нас воздушный тормоз Вестингауза, — отвечает комиссар.

— Все равно. Я жаловаться буду на вас, — уже спокойно и совсем равнодушно говорит начальник.

Потом начальник станции увидел, что у нас на заднем вагоне нет бокового огня.

— Это не по правилам! — злобно сказал он. — Я не выпущу вас со станции.

— Товарищ начальник, — убеждает его Карвонен, — это русским поездам нужен боковой фонарь на заднем вагоне, чтобы машинист видел, что хвост поезда не оторвался. А у нас Вестингауз — нам не надо: мы автоматические.

— Наплевать! — отвечал начальник. — Мне порядок важен, служба важна.

Тут комиссар вытащил все бумаги, документы о срочности нашего дела.

Но тот уперся — и ни тпру ни ну.

— Поставлю вас на запасный, пока не привезете мне разрешение ездить без заднего бокового огня.

— Мы за хлебом для революции едем! — крикнул высунувшийся вперед Ваня Заливин.

— А мне все равно, — равнодушно, уверенный в своей правоте, про-  
басил начальник, — хоть для двух революций. Мне служба важна, ин-  
струкция.

Я было схватился за свой револьвер, но потом сообразил, в чем де-  
ло, и бегом помчался к первому вагону. Вместе с помощником машини-  
ста разыскали мы фонарь и также бегом отправились к заднему вагону.  
Прикрепили фонарь, зажгли и обратно.

Туомио, размахивая руками, говорит комиссару, чтобы тот попросил  
чиновника на перрон. Вышли все гурьбой из помещения. И видно всем,  
что на хвостовом вагоне сбоку фонарь светится.

— Давно бы так, — говорит начальник станции и потом, чтобы под-  
нять свой авторитет, добавил строго: — Я бы мог вас все равно не вы-  
пустить — у вас на паровозе вместо трех глаз два. Смотрите поставьте  
третий.

И все-таки этот служащий задержал нас на три лишних часа! График  
сорвался. И мы пропустили вперед два поезда.

— Это вам не иллюминация, а сигнализация! — наставительно про-  
басил на прощание этот гад.

— Надо бы на него в Чека пожаловаться, — сказал Ваня. Передумав,  
махнул рукой. — Да нет, он по правилам издевался. Тоже, железнодоро-  
рожник!

Перед сном я рассказал Ване, как мы с Линола обнаружили сенаторов.

— Вот это одобряю. В прошлом году, когда революция началась,  
освободили мы из «Крестов» заключенных. Я сам с витрины магази-  
на шляпы и цилиндры доставал, чтобы им было что на голову надеть  
вместо арестантских колпаков. У нас в районе был жандармский полков-  
ник Тюфяев, невообразимая сволочь. Сколько людей из-за него погибло!  
Скольких ни за что сгноил! Перед ним стой тише воды, ниже травы —  
иначе изничтожит. И что же, схватили мы его, голубчика, и повели в Го-  
сударственную думу. Ведем. Он идет прямо, твердо ногу держит. Но все  
же побледнел... А сзади мальчишки ему на шпоры так и норовят насту-  
пить. А иные даже и наступят. Он оглянется. Посмотрит. И ни словца  
не проронил, пока доставляли. Мальчишки! Даже воробьи его теперь не  
боятся... А это насчет сенаторов ваших ты ловко придумал. К ногтю их.

На полустанке я перешел в свой вагон. Сейчас глубокая ночь, и ты,  
наверно, спишь.

### III.

Я выскочил из вагона и побежал к голове состава.

— Почему остановился поезд, когда семафор открыт?

Было совсем темно и морозно, снег хрустел под ногами.

Комиссар тоже подошел к паровозу:

— Что случилось, Айрола?

Айрола ругался:

— Удивительная страна! Играет стрелочник на рожке, а можно подумать, что пастух собирает стадо. И что эта деревенская музыка значит — не понять!

Он был прав: на наших дорогах никаких музыкальных инструментов не применяют, — днем зеленый и красный флажок, ночью зеленый и красный огонь.

— Но семафор-то открыт!

— «Открыт, открыт!»! — словно передразнивая комиссара, повторил Айрола. — Но вы посмотрите, что там сигнальщик-стрелочник вытворяет.

Стрелочник быстро вращал свой фонарь. Зеленый, белый, красный огни его сливались вместе, и не разобрать было, какой именно цвет предназначен для нас. Но вот он остановился.

Белое стекло приветливо мерцало нашему паровозу.

— Надо идти вперед к стрелочнику и узнать, что он хочет сказать своим фонарем, — предложил комиссар.

И мы отправились вперед.

Около будок стрелочника нас встретили неожиданной бранью:

— Какого черта вы остановили поезд?

Ругался на этот раз не железнодорожник, а человек в форме военного моряка, в бескозырке, с шерстяными наушниками.

— Мы не понимаем таких сигналов. Мы из Финляндии, — сказал комиссар. — Что это значит?

— Белый означает — путь открыт, — сказал выступивший из темноты человек. — Разве вы этого не знаете?

— У нас зеленый.... А вы кто будете? — обращается Карвонен к моряку.

И тут я заметил, что у того за плечами на ремне винтовка, а у пояса две гранаты.

— Проходи по своему делу, потом узнаешь!

— Что за разговоры?

— Помалкивай! — И рука матроса ползет к револьверу.

Я тоже нащупываю в кармане револьвер.

— Значит, можно идти? — спрашивает комиссар.

— Путь открыт, — говорит уклончиво человек в штатском.

«Здесь что-то неладно», — думаю я и хочу дать знать об этом комиссару. Но он уже идет к поезду рядом с матросом.

Я двинулся вслед за ним. В ногу со мной идет вооруженный штатский.

«Поезд наш должен пройти своим путем. Хлеб мы должны доставить Суоми», — думаю я, торопясь догнать комиссара. Но штатский осторожно трогает меня за рукав:

— Товарищ, по чьей путевке идет поезд?

— Идем за хлебом для революции — путевка Ленина.

Он выслушивает мой ответ и начинает жарко шептать!

— Товарищ, здесь готовится предательство! На станции стоит эшелон. Вооружены... Паровоз у них испорчен. Они ждут поезда, чтобы отнять паровоз.

— Наш паровоз не сменный, он приписан к поезду и идет из самой Финляндии.

— Да им наплевать на это. Это анархисты. Много они понимают в железнодорожном деле! Они вооружены до зубов. Разгромили на нашей станции два пакгауза.

— Сколько их?

— Не меньше шестисот, наверно, больше. За слова ручаюсь. Я начальник здешнего железнодорожного отряда Красной гвардии.

— Что можно сделать? Сколько у тебя людей?

— Двадцать и два пулемета. В трех верстах есть спичечная фабрика. Я послал уже туда одного парнишку за рабочей подмогой. Но сам знаешь, ночь... холодно...

Паровоз загудел и медленно повел состав к станции. Мы с товарищем красногвардейцем на ходу вскочили в вагон. От поручней мерзнут руки, холодный ветер обжигает лицо, а в голове одно — надо во что бы то ни стало обеспечить безопасность нашего поезда, во что бы то ни стало нужно доставить хлеб.

Мелькают огоньки семафоров и стрелок... Поблескивают темные окна придорожных сонных домиков. Толпятся на запасных путях теплушки и

пустые холодные классные вагоны. Несколько больных паровозов в стороне побелели от инея. Один из них в темноте кажется великаном. И правда, по русским дорогам ходят тяжеленные паровозы. В сравнении с ними даже наши КЗ кажутся небольшими. Поезд подкатывает к платформе.

Свет из окон станционного здания и нашего классного вагона вырывает и тьмы несколько групп вооруженных людей.

Высокие, широкоплечие парни. Анархисты. Среды них несколько матросов. У каждого на поясе ручные гранаты; за плечами на ремнях винтовки, карабины. Робко жмутся и к стенкам станции забежавшие на шум поезда одинокие пассажиры. А вот уже на снегу — платформа кончилась — стоят люди в полушубках, валенках. Тоже с ружьями.

— Это наши, — говорит мне спутник. — Я буду здесь. Надо действовать...

Он спрыгивает со ступенек. Я прыгаю за ним.

— Ну, как же? — спрашивают красногвардейцы.

— Я посоветуюсь со своим комиссаром.

— Мы будем ждать здесь. А вот и их эшелон.

На запасном пути вдоль привокзального, занесенного снегом сада вытянулся эшелон. В темноте красные теплушки кажутся такими же темными, как и наши. Порою широкие двери вагонов с визгом и грохотом открываются и выпустив людей, с таким же визгом быстро закрываются. На перроне к нашему комиссару подбегают анархисты и, угрожая револьверами и гранатами, о чем-то начинают спорить. Поездная бригада почти вся проснулась; ребята выходят с заспанными лицами на платформу.

«Надо приготовить охрану», — думаю я и быстрым шагом, миновав комиссара и окружившую его группу матросов, бегу к последнему вагону поднимать своих... А черт меня возьми, если я знаю, как мне надо действовать! Одно ясно, что поезд наш должен проскочить эту станцию. Когда я быстро иду, я быстро и думаю, но сейчас мысли толпятся в полном беспорядке. Из группы, окружившей комиссара, доносятся выкрики:

— Вы, наверно, коньяк везете и спирт!

— Прощупать хорошенько вас надо!

Тихие и спокойные ответы комиссара не долетают до меня. Кто-то трогает меня за рукав. Это Ваня.

— О чем тревога?

На ходу объясняю, в чем дело.

— Це дило треба разжувати, отвечает он против обыкновенная встревоженно и быстро идет за мной.

Я поднимаю своих красногвардейцев. Нет времени объяснять, в чем дело. Объявляю только, что положение серьезное. Дисциплина и решительность. Трусов будем судить дома. Молчат. Один сказал насчет того, что жизнь ему дороже всякого хлеба. Но другие на него цыкнули, и он замолчал. Вывел я свою дружину не на платформу, а с другой стороны поезда. Выкатили пулемет. И смотрим — к классному вагону, на ступеньки, прицепились уже несколько вооруженных анархистов. Несколько парней пробуют своими штыками скovyрнуть пломбы на наших вагонах. Ближние, увидев нас и наш пулемет, оставили это дело. Тут Ваня бьет меня по плечу и говорит, что надо сделать так, чтобы из этой ледяной воды выйти без воспаления легких. Ваня прав. Оставляю своих людей, назначаю себе заместителя, и мы с Ваней спешим к платформе. Около комиссара — огромная толпа. Его совсем не видно за широкими матросскими спинами.

— Да что с ним долго рассуждать! Списать в штаб Духонина, вот и все!

— Разве не видите? Вильгельмовский шпион!

Да, усы сейчас совсем не к лицу комиссару.

И я слышу его взволнованный голос:

— Товарищи анархисты, не могу вам дать паровоз, приписанный к моему поезду, я за него отвечаю перед Советской властью...

Его перебивают голоса:

— Нужна нам твоя власть!

— Мы и без твоего разрешения возьмем!

Они срывают с комиссара поясной ремень с кобурой, толкают его в спину, тащат куда-то за собой. Паровоз дает толчок — поезд вздрагивает.

— Не пускай поезд! — раздаются крики.

Кое-кто из этих парней вскакивает на паровоз. И тогда, вырвав у какого-то перепуганного пассажира сундучок, Ваня Заливин, слесарь петроградского депо Финляндской железной дороги, вскакивает на этот сундучок и громко кричит:

— Товарищи, братва, об чем речь? Паровоз мы вам дадим! Нам не к спеху. Если на то пошло, мы и постоять можем. Мы ведь тоже анархисты.

— Брось заливать, говори дело!

— Кто это выискался!...

— Я с этого поезда... работник. А ежели б не анархисты были, к чему нам черные теплушки?... Взгляните на них, уважаемая братва! Паровоз мы вам даем немедленно, только вы его не расшибите и со следующей узловой обратно нам пришлите. Товарищи мы вам или нет?...

— Раз так — значит, друзья!

— Как это понимать надо?

— Мы сами спасаемся, — продолжал «лепить горбатого» Ваня. — За нами, анархистами, вдогонку два поезда с большевистской гвардией шпарят... Вагоны у нас, к сожалению, пустые, а то с вами добром поделились бы. И если у вас что в вагонах есть, может, с нами поделитесь; нам оружие особенно нужно.

— Держи карман шире!

— Не надейся, дед, на чужой обед!

Анархисты хитро улыбались.

Некоторые из них захохотали.

— А старичка нашего отпустите. Мы сами с ним по душам поговорим... А ну, отцепляй паровоз!

Последних слов Заливина я уже не слышал, так как шел к начальнику здешней Красной гвардии.

Нашел я его там, где оставил. Мы сговорились быстро. Он понял меня с полуслова:

— По первому моему свистку навести пулемет на эшелон. Я возьму с собой кого надо. Дело будет жаркое!

Мы вошли к дежурному по станции. В диспетчерской было натоплено до духоты.

— Сволочи! — сказал равнодушно диспетчер и положил трубку на стол. — Пищик не работает. Перерезали провода!

— Давай нашего стрелочника и сцепщика, — сказал ему начальник отряда. — Нам надо загнать их на дальний запасный путь и забить оттуда все выходы порожняком.

— А как дальше?

— Утром придет помощь фабричная.

— Все возможно, — усмехнулся диспетчер, — но помощи, по-моему, ждать не приходится. А одному тебе не вывернуться.

— Делай, как я говорю, другого выхода нет. Станция должна быть большевистской, советской, — отвечает начальник.

А я мысленно добавляю: «А поезд должен вернуться с хлебом в Хельсинки».

Едва дежурный успел выполнить все, что просил у него начальник, как в помещение ввалилась группа матросов.

— Отправляем поезд!

— Паровоз добыли? — равнодушно спросил дежурный.

— Есть паровоз. Мы чего захотим — того и добьемся! — хвастливо заявил один из анархистов, усиленно оттирая перчаткой побелевшие уши.

— Чего же вы хотите? — так же равнодушно спросил дежурный.

— Анархии, — гордо сказал хвастун.

— По домам... — как-то робко вставил другой и уже увереннее повторил: — По домам, скоро ведь и посев у нас в Вятской.

— Мы пермские, — отозвался другой.

— Так, так, — сказал в пустоту дежурный и стал вызывать нужных ему для отправки эшелона людей.

Мы вышли на перрон.

Кто-то из наших отцепляет паровоз.

На паровозе уже матрос с наганом в руке.

— Все равно я не поведу! — кричит Айрола, громко ругаясь.

— Веди паровоз — я отвечаю! — кричит ему Ваня.

Но так как один говорит по-фински, а другой — по-русски, то им никак не сговориться.

— Комиссар, — раздраженно кричит Ваня, — скажи ему по-своему, чтобы делал как велено!

Но обеспокоенный комиссар сидит молча на перроне. Никто не обращает на него внимания, и он смотрит на темную теплушки, словно в пустоту, и затем тихо говорит, будто про себя:

— Я тебя, изменник, пристрелю.

Говорит он это тоже по-фински, и поэтому никто, кроме меня, его не понимает. И тогда я подхожу к нему и говорю громко, будто ссорясь, будто препираясь с ним. Я нарочно не шепчу, пусть Айрола на паровозе тоже слышит, в чем дело:

— Скажи Айрола, чтобы действовал, как велит Заливин. За все я отвечу перед народными уполномоченными и рабочими Хельсинки. В открытом бою мы их не возьмем: их больше и у них оружие. Надо их разоружить. Надо их заманить обратно в теплушки, а там... полагайся на меня.

Я хочу объяснить ему наш план, но тут двое проходящих анархистов останавливаются и подозрительно смотрят на нас.

— Немецкие шпионы, — говорит один из них.

— Нет, — успокаивает его другой, — это они по-своему, по-чухонски лопочут!... А ну, прекратить! — командует он.

Но тут же Карвонен вежливо его спрашивает:

— Разрешите мне дать распоряжение машинисту, чтобы он согласился отцепить от нашего поезда свой паровоз и вел ваш поезд?

— Ну, говори, — снисходительно соглашается матрос.

И Карвонен командует:

— Айрола, делал все, что тебе скажут Эйно и Заливин! Маневрируй, но не выходя с территории станции.

Айрола что-то бормочет и соглашается. Со стуком падает кольцо сцепной связки. Буфера перестают пружинить; из тормозного шланга с шипением выходит воздух. Паровоз медленно отходит. Он идет набирать воду.

Наш поезд остается безглавленным.

Теперь надо действовать решительно, осторожно и точно.

Я спешу к своим. Надо объяснить все им, чтобы всякий проник в суть до последней мелочи. Может быть, они надумают что-нибудь и получше, чем мы с Ваней.

— Надо заманить анархистов в вагоны. Для этого мы даем наш паровоз; его прицепляют к анархистскому эшелону, Айрола дает гудок и трогает с места, сначала как будто проверяя стяжки. Анархисты подумают, что поезд уходит, заберутся в теплушки, захлопнут двери. А тогда и начнем действовать по плану. — У Вани был план запереть теплушки наглухо и так оставить. — Нас, вооруженных, вместе с местными красногвардейцами тридцать человек при трех пулеметах.

Чувствую весь невероятный риск затеянного, но другого выхода не вижу.

Мы слышим звуки рожка стрелочника, гудки маневрирующего паровоза и громкий голос Вани Заливина, находящегося у топки рядом с Айрола и матросом.

— Пора, товарищи, пора! — говорю я своим ребятам.

И мы быстро идем по путям на соединение с отрядом русских красногвардейцев. Они уже приготовились к действиям.

— Ваш план половинчат, — говорят мне начальник отряда. — Оставить анархистов здесь, с оружием, чтобы они потом разгромили станцию!

Товарищ прав. И я додумываю план до конца:

— Ваня, ты хитры, а я еще хитрее!...

Начальник с изумлением смотрит на меня. Пожимает плечами и потом как-то сразу загорается, жмет мне руку, смеется.

Я выхожу на перрон — анархистов стало меньше. И вот слышится металлический стук буферов прицепляемого к поезду паровоза. Скрип стяжек. Слышно, как Айрола рывком берет с места эшелон и дает громкие позывные гудки.

Подействовало. Увешанные гранатами матросы прыгивают с перрона и бегут, пересекая железнодорожные пути, к своему эшелону.

Выскакивают отдельные фигурки из станционного помещения, скрипят двери теплушек.

— Эх, черт! Чего они медлят... — сердится начальник.

Но никто не медлит. Кладовщик тащит дюжину огромных замков.

— Только-то?... Снимай штыки! — командует начальник своим красногвардейцам.

Теперь уже я не понимаю, в чем дело.

— Все в порядке, — говорит мне начальник.

К нам подходит комиссар. Обращается ко мне, как к начальнику:

— Товарищ Эйно, я приготовил поездную бригаду. В случае чего, и она может пригодиться.

Мы полубегом, с винтовками в руках направляемся к маневрирующему на путях поезду. Товарищи выволакивают пулеметы и катят их вслед за нами. По-прежнему играет пастуший рожок стрелочника, слышны свистки сцепщика, короткие гудки паровоза, стук тарелок буферов и брнчание сцепок.

— Правильно, Айрола! — кричу я изо всех сил.

И я вижу, как пять человек из русского отряда отделяются, бегут вдоль эшелона и втыкают на медленном ходу поезда свои штыки, как засовы, в отверстия на дверях теплушек, предназначенные для замков. Штык заменяет засов.

Ловко! Теплушки снаружи закрыты. Никто оттуда не выберется. Разве что из люков. А оттуда можно вылезать лишь поодиночке, так что каждого в отдельности можно взять.

— Ну, будем действовать дальше, — совсем спокойно говорит мне начальник. — Вы только скажите по-своему машинисту, чтобы он не останавливал поезда.

Я опять кричу изо всех сил. Слышим два коротких револьверных выстрела на паровозе.

Русский красногвардеец-бородач крестится.

Ваня соскакивает с паровоза и бежит к нам. В его руках два нагана.

— Все в порядке! Матрос-анархист больше мешать не будет.

— Приступим! — говорит начальник и начинает дубасить в дверь первой теплушки.

Поезд идет медленно, но нам нужно все же, чтобы не отставать, идти быстрым шагом.

Вторые пять красногвардейцев переходят на другую сторону поезда. Они вскакивают на ступеньки тормозной площадки, перебегают ее и исчезают.

Рядом с теплушкой наши ребята катят пулеметы. Вокруг нас кирпичные, темные от копоти железнодорожные строения, засыпанные снегом товарные вагоны, большие паровозы, штабеля дров и угля, позади белеет заснеженная крыша станции.

Начальник настойчиво стучит в дверь первой теплушки.

— Да какого же черта? — Изнутри слышна ругань.

— Весь комплект налицо!

Комиссар рукоятью нагана барабанит в дверь.

— Открой! Может, баба!

И мы слышим, как в теплушке ржут. Наконец дверь медленно начинает ползти в сторону, и, пока она ползет, в теплушку успеваем влезть мы с начальником и еще один красногвардеец.

— В чем дело? — спрашивает разочарованно открывший дверь матрос.

— А вот в чем!... — говорит начальник, взводя курок нагана.

Я делаю то же самое. Красногвардеец щелкнул затвором.

— А вот в чем дело, — повторяет начальник, — революционная Советская власть рабочих предлагает немедленно сдать оружие. Через четверть часа подходит к станции эшелон латышских стрелков и красные финны — вот их делегат. — Он кивнул на меня. — Если вы не сдадите оружие — будете уничтожены все до одного. Красногвардейцы с фабрики окружили станцию и пути. Вам отсюда не уйти живыми, если не сдадите добровольно оружия. Если сдадите сразу, Советская власть гарантирует вам всем отправку по домам в течение полутора суток. Финский поезд заберет с собой один вагон тех, у кого дом в Вятке, Перми и Екатеринбурге. Кто из вас оттуда?

— Я, я, я... — раздалось несколько робких голосов.

— Брось шебаршить! — прикрикнул на них, видимо, их вожак.

И тогда они зашумели, загалдели. Послышался стук взводимых курков.

— Советская власть не шутит! — громко сказал начальник искомандовал: — Огонь!

И тогда, как было условлено, дали большую очередь в воздух наши пулеметчики. Первый пулемет замолчал. И с другой стороны поезда очередь повторил второй пулемет.

— Смотрите, — сказал начальник,

И они увидели, как рядом с вагоном идут вооруженные люди и катят пулеметы.

— Давай оружие! — угрожающие произнес тот.

— Не разговаривать!

И комиссар, сняв со стенки винтовку, передал ее мне. Я бросил ее наружу.

— Давай оружие!

Еще две винтовки я передал на мороз и крикнул:

— Товарищ комиссар, поездная бригада пусть берет оружие!

— Эй, ты! — увидел я парня, который спорил с другим о себе. — Ты вятский ведь, а товарищ твой — сибиряк. Сдавайте оружие, выходите. Мы вас сегодня же возьмем домой.

Это их проняло: они быстро сдают свое оружие под наведенными на них дулами, собирают сундучки и выскакивают со своим скарбом наружу, на пути.

— Возьмите у них гранату! — кричит красногвардейцам начальник.

Что делается на путях, я не вижу, не знаю: мне не до того...

— Бросьте вы морозить теплушку, закройте дверь! — сердится только что проснувшийся матрос.

Он еще не раскумекал толком, что происходит.

— Скорее сдадите оружие — скорее закроем дверь, — уверенно говорит начальник.

Наших ребят в теплушке уже десять человек. Они держат винтовки готовыми к бою. Но никто не сдает оружия, приходится нам самим снимать со стенок, вытаскивать из-под тонких матрацев винтовки.

— Руки вверх! — командует наконец начальник. — Буду снимать гранаты.

— У меня нет гранаты, — говорит один из анархистов и демонстративно засовывает руки в карманы: что, мол, взял?

Короткий удар рукоятью нагана по голове, и буян, схватившись обеими руками за голову, мешком оседает на нары.

— Я сказал — руки вверх!

Так мы выбираем из теплушки винтовки и гранаты и выскакиваем на путь. Блестят на морозе рельсы. И, пересекая эти рельсы, темнеет цепь поездной бригады.

Комиссар выстроил всех наших в цепь, и по этой цепи передается оружие из матросского эшелона в наш поезд.

Цепи все время приходится менять свое положение, потому что эшелон непрерывно маневрирует.

Первая теплушка наглухо заперта.

Рядом с нею быстро идет один красногвардеец.

Он наблюдает, чтобы никто не открывал люк.

И тогда мы начинаем операцию с второй теплушкой.

О, если бы и она прошла так же хорошо, как и первая!

И вот тут-то и срывается...

Сразу, как только распахнулась на стук начальника дверь, матросы почувствовали, что творится что-то неладное.

Отворял дверь сам вожак, тот самый, который в диспетчерской распространялся про анархию.

Увидев вооруженного начальника, он выхватил маузер.

— Пулемет — огонь! — скомандовал начальник.

И как только пулеметчики наши ответили короткой очередью в воздух, в вагоне произошло замешательство.

— Революционная Советская власть... — твердо сказал начальник.

Но этот беспутный парень торопил свою смерть, он не дал договорить начальнику.

— Плевать нам на твою Советскую власть! — заорал он. — Да здравствует анархия!

И кто-то из темного угла теплушки, до которого не доходил слабый свет коптилки, крикнул:

— Правильно, Василий!

И тогда раздался выстрел.

Я не знаю, кто выстрелил: начальник ли, один из красногвардейцев или, может быть, я сам. Нервы были у меня напряжены до предела.

Анархист, неуклюже взмахнув руками, задел раскаленную печурку, стоявшую посередине теплушки.

— Правильно! — сказал начальник.

Около него уже стояли три красногвардейца с винтовками наизготовку.

— Сдавайте оружие! — И он повторил почти слово в слово свою речь.

Здесь тоже нашелся один вятский.

Стараясь не глядеть на убитого, как бы не замечая его, молча, анархисты сдавали свое оружие, винтовки и гранаты.

И так же, как в первый раз, целью передавалось это оружие к нашему поезду, к нашим товарным вагонам.

Поезд продолжал маневрировать, и странно, что никому из моряков и солдат, находившихся в других теплушках, и в голову не пришло проверить, полюбопытствовать, кто это дает такие гулкие пулеметные очереди. Они или все уже спали, или так привыкли на фронте и за последние дни к стрельбе, что несколько случайных выстрелов ни во что не ставили.

Мы совершенно забыли об опасности и, чтобы дело шло быстрее, разбили на две группы и сразу принялись обезоруживать две теплушки с разных концов поезда, чтобы из одного вагона разоружаемые не могли перекликаться с другими.

Итак, я со своими и с Ваней Заливиным стали работать с хвоста. Нам попалась более спокойная публика.

В «наших» теплушках было много бородачей, и некоторые из них разоружались, можно сказать, даже с охотой. Особенно любезно сдавали они гранаты.

Анархисты в первых теплушках были куда активнее..

Когда мы разоружили с хвоста два вагона, в голове поезда раздался взрыв.

Я побежал к месту взрыва вместе со своими людьми, оставив наблюдать за люками двоих товарищей.

У места взрыва толпились русские красногвардейцы.

Поезд по-прежнему продолжал маневрировать по пристанционным путям.

— Из люка первого вагона какая-то сволочь бросила гранату в нашего часового! — возмущенно говорит начальник.

Уже несут на станцию стонущего в беспомощности, умирающего красногвардейца. Уже выводят из притихшего вагона бросившего гранату анархиста.

Его ведут двое к водокачке.

Жалобно блеет рожок, дребезжат, сталкиваясь, буфера вагонов, ровно горят огоньки сигналов.

— Мы слишком поверхностно разоружили. Надо будет обыскать, — говорит начальник русских красногвардейцев.

И мы расходимся по своим местам и снова принимаемся за работу.

С большой неохотой дают нам на просмотр свои сундучки и мешки разоруженные.

...И вот уже оружие все, или почти все, взято. Теплушки закрыты снаружи. Паровоз наш оставил их на дальнем запасном пути и забывает сейчас этот путь порожняком.

Около вагонов дежурит охрана.

— Ну, с каждым проходящим поездом я буду отправлять один вагон, — говорит начальник и начинает оттирать себе уши снегом. — Теперь познакомимся, — говорит он мне, — Владимир Яковлев.

Называю себя; мы крепко жмем друг другу руки и идем на станцию.

— Спасибо, товарищи, — говорит Ване и мне товарищ Яковлев.

— Спасибо, товарищ, — отвечает мы.

Русские красногвардейцы вытаскивают оружие из нашего товарного вагона.

— По-братски поделим, — говорит кто-то из них.

— Да нам оно совсем не нужно, — отвечает Ваня.

— А может быть, пригодится. Не говори так, парень, — кто нынче от оружия отказывается!

— Они отковырнули пломбы на двух наших вагонах. Ну что ж, они предвидели, что нам нужен будет порожняк. Мы и свалим туда конфискованное оружие, — говорит комиссар и пожимает руку начальнику.

В диспетчерской на диване стонет раненый.

Молочный рассвет проникает сквозь замерзшие окна в помещение.

— Через три минуты можно идти. Только идите медленно, — беспокоится о нашей судьбе дежурный по станции. — Эта сволочь порвала провода.

Мои красногвардейцы делятся с русскими красногвардейцами папиросами. Каждый говорит на своем языке, но, как видно, сейчас они сговорились и без переводчика. Русские с наслаждением затягиваются дымом папиросок, прикуривают друг у друга. Смеются... Язык курильщиков интернационален, и кажется, что сейчас русские и финны прекрасно понимают друг друга. Лица у красногвардейцев бледны от утомления.

На меня нападает отчаянная апатия, безразличие ко всему, и очень хочется спать.

Я сижу почему-то не у себя, а в купе у Заливина и говорю ему:

— А пожалуй, хорошо получилось, что мы не знали сигналов этих рожков, поэтому мы остановились и познакомились с товарищем Яковлевым.

И тогда я замечаю, что диван подо мною дрожит, слышу мерное перестукивание колес: раз-два, пять. Раз-два, тир, пять. Раз-два, пять. Поезд уносит нас от Суоми, от тебя, Тюне, далеко-далеко — в снежные поля, в тайгу Сибири.

## IV.

Поезд остановился на глухом полустанке.

Машинист громко разговаривал с комиссаром:

— На последней станции дров уже не было. Сказали, что на следующей есть, и наврали про расстояние. Вместо тридцати верст мы прошли сорок семь, и вот теперь на разъезде говорят, что станции еще двадцать две версты. У меня не хватит дров! — горячился машинист. — Что делать? Топка может заглохнуть.

— Надо было у меня спросить! У меня справочник есть.

— Но ведь сам ты говорил, что расписание не действует.

— Расстояния остались прежние!

Комиссар перестал разговаривать с машинистом и пошел на тускло мерцавший за обледенелым стеклом огонек сторожки. По часам было лишь четыре пополудни. Но темнота уже заливала пути.

Уже несколько раз нам приходилось трудно из-за того, что на станциях не хватало дров и для намеченных по графику поездов, — мы же шли сверх всех расписаний.

— Отсюда версты полторы с гаком, у речки, штабеля лежат. Еще в прошлом году подрядчик сплавлять хотел, а революция вышла, вот и лежат, — ответил стрелочник комиссару, на ходу застегивая тулуп.

Было совсем уже темно, и снежило.

— Проведи нас туда.

— Что ты, что ты, товарищ, разве могу я уйти со своего поста! Идите сами, не собьетесь. Прямиком.

— Ну, что, Мальме, пойдем, пожалуй, сказал комиссар кондуктору.

Тот поежился на морозном воздухе. Сон не хотел его еще отпустить.

— Идем, — строго повторил комиссар. — Если найдем, один вернется и расскажет.

И через минуту они исчезли.

Туомио, кочегар второй смены, вышел из вагона с топором и пилой:

— Эйно, где наша не пропадал, попробуем, станем лесорубами сегодня.

Метрах в двадцати от полотна железной дороги росли елки.

Идем...

Черт дери, как глубокий снег — проваливаюсь чуть ли не по пояс, с трудом вытаскиваю ноги. Надо разыскать утонувший в снегу топор.

Туомио выронил его из рук, когда сам провалился в снег. Да, мы не ожидали этого.

Снег забился в брюки, в штiblеты, таял там и охлаждал тело. Но отступить было поздно — несколько человек из поездной бригады наблюдали за нами и посмеивались. Вышел и красногвардеец охраны, мой подчиненный, Вирта.

Дело у нас подвигалось медленно.

— Проклятое дерево, возьмем, что ли, другое, — предложил Туомио. Дерево не поддавалось.

— Ничего, сделаем, — сказал я и ударил топором изо всех сил.

Снег, осыпаясь, залетал в глаза. Таял на ресницах.

Дерево заскрипело и рухнуло.

— А ну, товарищи, сюда на распиловку! — скомандовал я своим красногвардейцам.

Мы принялись за вторую ель.

Красногвардейцы охраны оканчивали разделку первой. Ноги были мокры от тающего снега, а рубаха сделалась влажной от пота. Нам удалось повалить второе дерево.

— Эх, работнички! — укоризненно сказал Айрола. — Топка моя съест больше, чем вы за то же время приготовите. Ну, да все равно... Я думаю: не напрасно ли мы путешествуем? Слишком мало денег взяли. Разве кто-нибудь теперь за типографские бумажонки отдаст настоящий хлеб?

Но Туомио словно и не слышал, что говорил Айрола. Он, стирая пот со лба, мечтательно произнес:

— Знаешь, есть такие паровозы, что на них и кочегаров нет. Стокеры работают. Такая машина есть. Вместо кочегара за топкой смотрит и топливо равномерно подкладывает.

Мы замолчали. Вагоны длинного нашего поезда темнели на линии, и только в одном классном вагоне одно купе было освещено.

— Поработаем, что ли... — вдруг спохватился Туомио.

Но было уже ясно, что так много не наработаешь, а инструмента хватило бы еще разве на одну пару.

— В этом деле есть вина и Айрола, — сказал Туомио. — Если бы он взял на той большой станции дрова, пожалуй, хватило бы еще.

— Какая вина! Разве до этого тогда было нам.

Возвратился комиссар. Он тяжело дышал.

— Надо будить всех, — приказал он. — Все на работу. Аврал.

Я послал красногвардейца поднимать охрану, а сам пошел будить Ваню Заливина.

Люди собрались. Некоторые недовольно брюзжат:

— Мы поездной прислужкой работаем — грузчиками не нанимались.

Я не могу разобрать, кто это там ворчит, и говорю:

— Песню, песню запевайте.

Мы трогаемся вперед и идем, проваливаясь на каждом шагу в снег. Шли долго. Я давно уже потерял ощущение пространства и не знал, где находится линия. И если бы внезапно в этом месте я остался один, ты бы меня никогда и не увидела вновь. Заблудился бы и попал на завтрак волкам и медведям.

Огненные точки папиросок и редкая ругань сигнализировали о том, что рядом идут люди.

«Это вам сигнализация, а не иллюминация!» — вспомнил я слова начальника станции и засвистел.

По-моему, мы давно уже прошли две версты — гак, о котором говорил стрелочник, был, пожалуй, слишком велик.

Тут Карвонен остановился и сказал:

— Вот...

Мы стояли около высокой стены. Я подошел поближе и ощупал эту стену. То были штабеля, огромные поленицы березовых дров. Из мрака выступил Мальме и мрачно пробасил:

— А я уже думал, что вы не придете, что придется мне идти к Христу на елку, как рождественскому мальчику. Ну вот, если кому надо, может погреться!

И он повел нас. С другой стороны штабеля пылал яркий костер. Березовые дрова трещали. Снежок около костра стаял, обнажив черную землю. Поленица висилась у самого склона — на берегу замерзшей речки. Дрова ждали, пока вскроется речка, чтобы пойти вниз по быстрому течению. Их никто не сторожил.

И мы принялись за работу.

Тридцать пять человек — мы встали в ряд. (С поездом-то осталось всего пять человек.) Один брал большое полено со штабеля и передавал другому, тот — следующему. Цепь растянулась сажен на тридцать. Так полено, переходя из рук в руки, доходило до последнего в цепи, и тот швырял его на снег.

Сначала работа шла быстро, весело, да и какая это в самом деле работа? Одно полено не тяжело держать в руке. Получаешь и стоишь на месте, легкий поворот — передаешь следующему, словно какое-нибудь простое гимнастическое упражнение проделываешь.

— Сколько берем дров-то?

— Полтысячи.

Так проделали мы пятьсот гимнастических упражнений. Надо распускать ворот, отирать платком пот, снимать перчатки, у кого они есть. Стало тепло. Даже промокшие ноги не так коченеют.

А дрова-то переместились ближе к поезду всего на тридцать сажен.

Цепь переходит на новое место. И снова начинается работа.

Пятьсот легких поворотов. Начинаешь чувствовать вес своих рук.

Опять цепь переходит на новое место. Опять идут по рукам тяжелые березовые дрова, и каждое полено стало тяжелее. Умолкают шутки, и разговоры тлеют и шипят, как сучья в угасающем костре.

Снова переходит цепь на другое место. Переходишь, уже не разбирая дороги, проваливаясь в следы предыдущего товарища, и ветви бьют по щекам. Как жаль, что мы теплушку с матросами, вятичами и пермяками отцепили на предыдущей станции. Они бы здесь, в цепи, нам здорово помогли. Вдвое быстрее шла бы работа.

— Дружнее, дружнее, ребята! — подбадривает нас комиссар.

— Работа не пыльная! — смеясь, отвечает кто-то.

Снова переход, начинаю считать поленья. Одно, два, три... пять... восемь... пятнадцать... После сорокового сбиваюсь со счета.

Надо думать о чем-нибудь другом, тогда время пойдет быстрее. Но о чем думать, когда тебе суют в руки полено и ты должен его передать дальше.

«Неженка, неженка, а еще суешься в революционное дело. Велика штука — перебрасываться в лесу поленьями. ты бы вот попробовал в тюрьме посидеть. Другие вот пытки переносят, и то ничего, а тебе триста раз вокруг своей оси повернуться жалко. Да, тюрьма! Вот Либкнехт еще и сейчас на каторге за то, что против кайзера, против войны, за мир».

...Никогда не думал я раньше, что руки могут быть такими тяжелыми, словно они налиты свинцом.

Новый переход цепи... Ноги мокры от снега. Брюки леденеют. Хорошо тому, у кого русские сапоги. А у одного из ребят даже валенки!

Вот ты сейчас уже на фронте, а я, прощаясь с тобой, дорогая моя Тюне, забыл попросить, чтобы ты берегла себя. Ты ведь совсем не такая здоровая, как рассказываешь. Не простудись там, милая. На фронте легко схватить воспаление легких. Береги себя, нежная моя девушка. Как ты смеялась, когда я первый раз поцеловал твою ладонь:

«Таким простым девушкам не целуют рук. И потом, они у меня некрасивые».

Чепуха! Прекрасные, умелые руки...

Черт дери! Совсем некстати снял я перчатки, заноза вошла под кожу. Ну ничего, потерплю.

Одно полено, другое, третье... десятое... двадцать первое... пятьдесят пятое... Некоторые совсем обмерзли и скользят из рук — не уронить бы раньше времени, успеть бы передать. Ну ладно, наступить же когда-нибудь конец этой работе.

— Эй, ухнем, эй, ухнем! — запекает Ваня русскую песню «Дубинушка».

Но разве сейчас нам до песен!

— Глухонемые! — кричит Ваня. — Да с песней и работа спорится!

— Чего ругаешься? — говорит Карвонен. — Они тебя не понимают... Вот ты что запой. — И он затягивает баррикадную нашу песню.

Ваня знает мотив. Он поднимает его во всю силу своих молодых легких. И уже невозможно не петь. И вот она идет по лесу, спотыкаясь, натываясь на оснеженные стволы деревьев, проваливаясь в глубокие следы, наша песня, наш боевой марш.

И легче поворачиваться, и руки легче несут полено.

Враг наточил топор свой острый,  
К схватке готовясь, грудь о грудь!  
На бой последний, братья и сестры,  
На баррикады ведет наш путь...

Сквозь сетку ветвей смотрит на нас наш поезд. Разводит пары паровоз, приветствуя нас протяжным гудком... Вот и верстовой столб, всего семьсот тридцать верст от Петербурга отъехали.

Стучат дрова, падая в тендер. Цепь наша придвинулась к самому паровозу.

Карвонен как ни в чем не бывало разжигает трубку.

— Прошлой ночью легче было в цепи работать. Раз-раз — и готово!

— Эх, стокер бы на паровоз! — говорит сам себе Туомио и отправляется подкладывать свежие дрова в топку.

А над полотном уже восходит красный огромный шар. Совсем как раскаленное железо — странно только, что снега, над которыми оно лежит, сейчас не шипят и не тают. Бледный полумесяц стоит в зените.

— Вот мы и выполнили вторую нашу боевую операцию, — говорю я Ване.

Солнце уже оторвалось от снегов и поползло выше. Глаза мои слипаются от усталости. Поясницу ломит. Я ложусь спать... И уже в полусне чувствую толчок — поезд наш двинулся с места. Потом дробная стукотня колес. Даже о тебе я не могу подумать, перед тем как сомкнуть глаза.

Проснулся я днем. Занимался политграммой со своими красногвардейцами.

На одном из полустанков купил у здешнего торпаря-крестьянина плетенную из коры обувь. Лапти... Хочу привезти их тебе, показать, что это за штука. Это очень искусная работа, лыковые туфли.

Все время скандалы с начальниками станции потому, что мы подкатываем к платформам, как курьерские поезда, и из-за того, что наши вагоны черные.

## V.

Больше дров нет.

Несколько станций отказывали нам в дровах. Здесь уже паровозы ходят на угле...

Нам предложили переменить паровоз, но мы этого сделать не можем. Наш паровоз — и на всю дорогу он приписан к нашему составу. Значит, надо переделывать топку и колосники под уголь.

Работа серьезная, но вполне возможная. Наши слесари — Ваня Заливин, Сариниеми и Хурмеринта — берутся это сделать меньше чем в сутки.

Новая задержка.

Правда, мы проехали довольно много. От Петрограда до Вятки тысяча сто пятьдесят верст. И от Вятки до Верещагина триста тридцать семь. Но все-таки каждая задержка раздражает.

Топке надо дать заглохнуть, она должна остыть, и только тогда слесари могут приниматься за работу. Затем четыре часа придется потратить на растопку и на подъем пара. Да, в самом лучшем случае, задержка на сутки — это в то время, когда каждая сухая корка для наших красногвардейцев — подарок.

Отчаянно хочется узнать, что сейчас делается в Хельсинки, какое положение на фронте, захвачен ли нами генерал Маннергейм? Что делается в Ваза?

Мы отрезаны от Суоми. Почему-то ни на одну нашу телеграмму из Хельсинки не отвечают. Можно подумать, что о нас совсем забыли.

— Знаешь что, — говорит Ваня и при этом отчаянно, как и всегда, ругается, — я полезу в горячую топку; незачем ждать, пока она остынет... Я полезу в топку! — совсем уже решительно повторяет Ваня и выходит из вагона со своим инструментом.

Я перевожу его слова Сариниеми и Хурмеринта. Хурмеринта недоумевающе пожимает плечами:

— Шутит, что ли, этот русский?

Но нет, Ваня не шутит. Он идет к паровозу, и за ним, пересмеиваясь и недоумевая, идут наши слесари и я как непременный переводчик.

Кочегары очистили топку от горячего. Но колосники раскалены, стоять около топки почти невозможно.

Ваня опускает наушники и завязывает их у подбородка; напяливает сверх своей тужурки меховой тулуп. Затем берет три толстые короткие доски, кладет их на красную от жара колосниковую решетку и решительно всовывается в раскаленную печь. Хурмеринта и Сариниеми, разинув от изумления рты, смотрят на то, что делает Заливин.

Дорогая моя Тюне, я и сам не совсем точно знаю, какую там нужно произвести работу в топке при переходе с дровяного топлива на уголь. Скажу лишь о том, что, когда через полминуты высунулась из топки голова Вани и затем вылез он сам, мне вспомнилась рассказанная еще в школе пастором притча об отроке, ввергнутом в огненную печь, и о его чудесном спасении.

Ваня тяжело дышал и никак не мог надышаться, как будто у него были дырявые легкие. Ресницы и брови его были спалены. Через минуту он снова всунулся в топку и поработал там еще с полминуты. И тогда его оттолкнул слесарь Сариниеми.

— Тоже нашелся герой! — грубо сказал он.

И сам полез в топку. Через минуту он, как и Ваня, метнулся к свежему воздуху...

В третий раз ему идти уже не пришлось, потому что его сменил слесарь Хурмеринта один раз подошел к окошку и быстро оглянулся — не смотрит ли кто. Его рвало.

Ваню и Сариниеми тоже тошнило.

Но они старались шутить, показывали друг перед другом свое мастерство и были похожи на чертей из пекла.

Я сошел с паровоза и пошел к комиссару.

— Скоро слесари окончат работу, доложил я ему.

— Я об этом случае буду специально докладывать нашему революционному правительству, — сказал обрадованно товарищ Карвонен.

Через три часа сорок минут после начала работы слесари доложили, что реконструированная топка находится в полной готовности, и машинист с кочегаром пошли поднимать пар.

Мы готовились к отъезду.

Нам отпускали на станции семьсот тридцать пудов угля.

— Отличнейший жирный уголь! — сказал, посмотрев на него, Айрла.

Он ходил около штабелей подмерзшего угля и размахивал руками. До этих пор я думал, что люди, которые размахивают руками, должны быть очень болтливými. Но Айрола был неразговорчив.

Туомио ходил рядом с ним и, держа в руках какую-то брошюрку, пространно рассказывал старому машинисту о том, какие бывают угли и какие бывают топки.

Мы готовились к скорому отбытию и ждали встречного.

Уже слышится все нарастающий грохот приближающегося поезда.

Он быстро проходит семафор, не замедляя хода, полным карьером подходит к самой станции и, на удивление всем старожилам, останавливается у станционной платформы как вкопанный, как скорый, совсем как наш. Но поезд-то товарный, и вагоны — вылитая копия наших. Черные! Тормоза Вестингауза, и паровоз, как наш, и медные части блестят, как каски пожарных.

Да что и говорить, это и есть наш родной финский поезд!

Вот соскакивают с площадок классного вагона люди и бегут к нам; и с последнего вагона выпрыгивают и бегу к нашему поезду люди с винтовками за плечами, в фетровых шляпах, несмотря на мороз. И на штыках у некоторых красные ленточки.

Я не помню, как я сорвался с места, когда успел добежать до товарищей, — но я уже обнимаю их, крепко жму руки, громко-громко кричу:

— Ура!

И ребята с восторгом подхватывают мой вопль, и далеко над станцией, над снежными полями разносится наш крик: «Ура!»

И вот голос, громкий голос на родном языке приветствует нас:

— Терве, товари! (Здравствуйте, товарищи!)

Комиссар поезда товарищ Яков Рахья приветствует нас. И видно, как он взволнован этой радостной встречей.

— Скорее расскажите: что творится на родине?

— Как на севере?

— Где фронт, как дела с продовольствием, с правительством?

— Почему не отвечают нам на наши телеграммы?

Они засыпают нас сотней вопросов одновременно, и не знаешь, на какой отвечать, не знаешь, с чего начать, и сердце до краев наполнено радостью. И торопясь, проглатывая слова, мы отвечаем товарищам:

— Да, революция живет!

— Дела прекрасны!

— Враги будут разбиты повсюду!

— С продуктами стало еще хуже, приходится затягивать пояса потуже.

— Ваш хлеб будет в самый раз!

И украдкой я наблюдаю за этим коренастым человеком, носящим имя Рахья, инициатором наших маршрутов.

Он невысок, и лицо с рыжеватыми подстриженными усами, кажется, ничем особенным не выделяется. Глаза его блестят радостью, и уголки губ приподняты в улыбке, изо рта легонько вырывается пар.

— Ты не представляешь себе, — говорит Рахья Карвонену, — как приятно встретить родной поезд! Это часть Суоми встретила нас!

— Это наша революция на колесах, — смущенно шутит Туомио.

— Как достали хлеб?

— Как путь?

— Что нужно делать, чтобы скорее идти назад?

Это уже мы задаем вопросы, тоже беспорядочно и бестолково, но товарищи терпеливо отвечают нам:

— Сначала нас железнодорожные викжелевские крысы загоняли на запасные пути, но местные организации и рабочие-большевики помогли нам.

— Идем хорошо!

— Хлеб нам дали по распоряжению Омского Совета рабочих депутатов безвозмездно... Для победы мировой революции эти парни готовы отдать жизнь! — тепло говорит Рахья.

— Как мы, товарищи, плохо знали русского рабочего! Прямо совестно об этом и вспоминать. Шли в хвосте у националистов.

— У них у самих — у омских рабочих — почти ничего нет.

Итак, хлеб достать можно!

Я торжествующе обернулся, ища глазами Айрола. Но его не было.

Товарищи разбиваются на кучки. И мы узнаем, что впереди на станциях можно будет покупать хлеб — и недорого — целыми буханками; о том, что впереди совсем нет сахара. И тут же отдают нам остатки сахара, просто так, в подарок. Потому что они уже через несколько дней будут в Финляндии.

Товарищ Рахья передает комиссару нашего поезда какую-то бумагу.

— На горах, — говорит он, — чертовски трудные профиля и не всегда удастся вам заполучить проводника. Так вот, я все время там, в горах, на паровозе сидел и профиль дороги записывал. Твоим машинистам он пригодится. Возьми!

Молодец комиссар-машинист!

А второго поезда он не встретил, сразу наш третий попался, потому что второй шел через Челябинск.

Но путь открыт, и поезду Рахья надо отправляться на Петроград. Вся поездная прислуга, паровозная бригада, мои красногвардейцы высы-

пали, толпясь, на площадку — окна в вагонах замерзли. Провожающие машут платками.

— Счастливого пути! Передавайте привет в Хельсинки! — кричим мы. — Мы выполним задание!

— Передавайте привет Сибири!

И поезд их медленно уплывает, уходит на запад. Через несколько минут отойдет и наш поезд — на восток.

Наш поезд идет следом за солдатским эшелоном. Мы не можем поэтому набирать быстроту и идем черепашьям шагом.

Я вышел на площадку подышать свежим воздухом.

На площадке стоял Туомио. Он смотрел на бегущие мимо нас необъятные равнины, занесенные глубокими снегами. На самом горизонте черной нерушимой стеной стояли леса. И не было конца-краю этим равнинам, снегам, лесам.

— Уже неделю едем, — сказал, вздохнув, Туомио, — и даже середины России не достигли. Какая она большая, какая огромная! И когда я смотрю на эти просторы, Эйно, мне вспоминается картина моего детства. Мы с отцом и с матерью на морском берегу. Отец вытаскивает из ёлы дневной улов. Мать помогает ему. И в ведре плещутся, как живое серебро, рыбки. И вот к пристани подходит большая трехмачтовая лайба. Нам всем интересно, что привезли на этой лайбе.

«Какой груз?» — кричит наверх мой отец.

«Земля!» — кричит ему вниз в ответ матрос.

«Что?» — переспрашивает отец и прикладывает ладонь к уху.

«Земля! — повторяет матрос, перегибаясь через борт. — Обыкновенная земля!»

Я об этом вспоминаю, когда вижу эту ширь. А нам для садов, для парников и огородов из-за границы землю возить надо!...

Мы оба молчим, думая каждый о своем. Становится холодно.

— Я пойду к себе, — говорит Туомио. — Скоро надо будет на паровоз. А пока, до смены, я хочу подзубрить еще немного.

— Подзубрить?...

— Ну да, — говорит Туомио. — Я учу телеграфную азбуку Морзе. Потом пойду на телеграф работать. Среди машинистов есть революционеры, а у телеграфистов засели одни бюрократы. Вот я на телеграфе и поработаю. Очень важная вещь для революции — телеграф.

Я пробираюсь через вагон-склад к паровозу узнать у машиниста, скоро ли станция, и вижу: на площадке — незнакомая женщина, и горькие слезы текут по ее щекам. Рядом с нею — мой красногвардеец. Увидев меня, он смущается.

— Что случилось? — спрашиваю я.

Женщина, плача, рассказывает, что этот человек снизошел к ее просьбам и обещал ей устроить проезд. Она заплатила ему за это, как было условлено, деньгами, а теперь, угрожая сбросить ее на ходу с поезда, он надругался над ней, и она не знает, как показаться домой честным людям.

Я записываю имя его, чтобы оно навсегда было проклято, — Ивар Гренхаген.

Он даже не понимает всей мерзости своего поступка.

Я иду на кухню и говорю Ханне:

— Немедленно вызови комиссара.

Приходит комиссар. Я объясняю ему, в чем дело.

Он покусывает концы усов и бледнеет, словно от непереносимого страдания. Потом медленно, с расстановкой, чуть ли не по слогам, говорит:

— Лучше всего было бы тебя здесь же, на месте, расстрелять. Но, к сожалению, мы не имеем полномочий революционного правительства на это. Поэтому мы сдадим тебя Чрезвычайной комиссии на первой же остановке.

— А как обойдетесь без кочегара? — испуганно спрашивает бывший красногвардеец.

— Тебя это не касается! — резко отвечает ему комиссар и поворачивается по-военному на каблуках.

Женщина не понимает нашего разговора. По-прежнему слезы катятся по ее щекам.

Тогда бывший красногвардеец Ивар Гренхаген вдруг понимает всю безвыходность своего положения и торопливо начинает умолять комиссара:

— Накажите меня, как полагается по законам! Я заслужил наказание, но не оставляйте меня в чужой стране, у неизвестных людей. Здесь я совсем погибну. Я еще исправлюсь. Я молод. Это было случайно.

И он еще добавляет какие-то жалкие слова.

— Вот твой начальник, — говорит ему комиссар и показывает на меня.

— Я согласен с решением комиссара, — говорю я и обезоруживаю прохвоста, затесавшегося в наши ряды.

За спиной Ханны толпятся уже и другие.

И я слышу голос, одобряющий мои действия:

— Ивара хотели судить еще в Хельсинки: он продал там две обоймы патронов какому-то проходимцу.

Нет, уговоры бесполезны.

На первой же остановке мы ссаживаем пострадавшую женщину, даем сухарей.

Она плачет, и благодарит, и снова плачет.

С рапортом-протоколом, написанным комиссаром и переведенным мною на русский язык, мы сдаем станционным красногвардейцам предателя, бывшего красногвардейца финляндской рабочей Красной гвардии — Ивара Гренхагена.

— Кто же из твоих теперь станет у топки? — говорит комиссар.

— Эх, была не была, стану я сам! — бойко говорю я. — Туомио когда-нибудь станет телеграфистом, а я — машинистом.

Поста своего не сдаю и становлюсь у топки.

## VI.

Теперь я понимаю, почему Туомио мечтал о стокере.

Эта мечта приходит к любому кочегару на третьем часу работы. Я работаю кочегаром на паровозе в смене Айрола.

— Тут тебе не о политике спорить, а руками пошевеливать надо.

Но Айрола сам же через минуту начинает старый спор.

Он говорит:

— Разве ты не видишь, какая отсталая страна Россия: на тысячи верст ни одного большого города. И если наша Суоми еще не доросла до социализма... Кто прав, тот своего противника всегда сумеет убедить и без оружия.

— Айрола, сам ты говорил, что на паровозе не время и не место разговаривать о политике! — почти умоляю я своего шефа прекратить этот разговор, потому что мне и без слов очень трудно справляться с работой.

Надо поворачиваться от слепящей и обжигающей жаром топки, загребать железной лопатой уголь и вращающуюся набрасывать на колосниковую решетку.

И делать это надо не раз, не два, а почти непрерывно во все время дежурства. Уголь почему-то сгорает неравномерно.

В некоторых местах он горит скорее, и там образуются продушины. И продушины эти надо забрасывать тонким слоем свежего угля. И сам черт не разберет, почему в одном месте топки огонь затухает, а в другом возникает внезапно яркое, сильное пламя.

— Все оттого, что неверно еще работаешь, — говорит снисходительно рыжий машинист.

— Но сейчас такой сильный огонь, товарищ Айрола, что не разобрать этих чертовых продушин!

Тогда Айрола берет из моих рук и загребает полную лопату каменного угля. Затем, сбросив с лопаты уголь, он поворачивает ее обратной стороной вверх. Теперь лопата — вроде щитка от ослепительного света,

и, смотря под нее и над ней, можно глазом ощупать всю топку. Хорошо видны места, где уголь слежался и где продушины.

Он бросает так еще две лопаты, затем закрывает дверцу шуровочного отверстия и, наставительно подняв палец, говорит:

— Видишь!

Потом он продолжает тоном приказа:

— Забрасывать уголь надо быстро, чтобы не охладить топку, мелкими порциями, не больше пяти лопат зараз. Сразу же закрывать дверцу.

Так я прохожу науку кочегара.

На первых порах только шуровка, а потом пойдут и все другие побочные службы кочегара.

Да дорогая Тюне, не знаю, будет ли тебе это интересно, но на всякий случай сообщаю, что уголь надо забрасывать обязательно смоченным. Почему? Об этом я напишу в следующий раз.

Но работать надо быстро, иначе Айрола ворчит, что я сбиваю ход.

А шли мы медленно — впереди ведь эшелон. Как же надо работать на быстрых оборотах!

От жара топки отчаянно хочется пить, но Айрола не советует:

— Крепись до последнего. А потом пей на паровозе теплую воду, холодной не заправляйся.

Я шурую... И в промежутке между шуровкой стараюсь отдышаться и отираю черной рукой пот со лба.

— Трубочист! Совсем как кочегар, — язвит Айрола.

Пять быстрых лопат угля в шуровочное отверстие, враструску, по всем правилам.

Передышка — и снова работа.

На полустанке нас догнал эшелон самодемобилованных.

Он тоже шел вне всякого графика и без путевого жезла. Но машинист был опытный, из здешних мест.

Машинист подошедшего поезда подвел свой паровоз к наливному крану, на котором огромный глыбами лепился лед.

Но вода по шлангу не потекла.

Машинист с кочегаром сошли с паровоза, чтобы проверить, в чем задержка; они скользили по обледеневшей площадке и выделяли, балансируя, такие антраша, что трудно было удержаться от смеха.

Однако Айрола, наблюдая эту картину, даже не улыбнулся.

Он быстро подошел к водомерной трубке.

Воды у нас оставалось совсем немного.

— При таком уровне до следующей водокачки я поезда не доведу.

Он озабоченно спустился с паровоза и побежал к колонке разузнать, в чем дело.

Я же пошел к комиссару, чтобы справиться у него — скоро ли следующая станция. И я нарушил правило, которого, впрочем, в ту минуту еще не знал.

Я оставил паровоз, а в это время солдаты разбитого эшелона и эшелона, догнавшего нас, выстроились со своими чайниками, котелками в очередь у нашего тендера.

Кипятильник на платформе тоже бездействовал, а без чая русскому не прожить, так же как и нам без кофе.

Вот они, с веселыми прибаутками, торопливо выстроились в очередь у краника нашего тендера, расхищая нашу воду, которой и без того нам не хватало.

Айрола заметил эту очередь одновременно со мной, и мы помчались спасать остатки драгоценной влаги.

— Товарищи! Товарищи! Нет, нет! Нельзя! — сердясь, выкрикивал Айрола несколько знакомых ему русских слов, перемешивая их с финской бранью.

Но солдаты не отходили от краника, и было обидно смотреть, как струя воды, не попадая в узкое горлышко бутылки, проливалась на снег.

— Товарищи! — закричал тогда я изо всех сил. — Отойдите, прошу вас!

Но они и не подумали отойти от тендера. В ответ на мою просьбу я услышал только смешки и ругань. Задание торопили передних:

— Скорее, скорее!

Они боялись, что им воды уже не достанется.

Тогда Айрола вытащил из-за пазухи свой дамский браунинг, вынул вперед и навел его на человека, набиравшего воду. Холодная струя воды со звоном била в жестяное дно чайника.

— Товарищи!... — внушительно произнес он и дальше понес по-фински.

— Чего там болтает? — раздались крики из толпы.

— Убрать рыжего черта!

Тогда я тоже обнажил свой маузер и громко, отдельно стал переводить слова машиниста Айрола:

— Закрывать кран! Если кто-нибудь еще осмелится подойти к тендеру, застрелю на месте! Браунинг заряжен.

Айрола подтвердил свои слова выстрелом в воздух.

— А может, и впрямь снег разогреть? — сказал лениво первый солдат.

— Воды не хватило?

— Не хватило воды?

— Айдайте за снегом! — загуторили стоящие поодаль.

И толпа стала медленно расходиться.

Айрола Перевел рычаг, и паровоз плавно пошел вперед.

— Как же мы оставляем поезд? — спросил Хурмеринта.

— Мы идем до ближайшей водоналивной колонки, набираем воду и обратно за составом. Воды для одного паровоза хватит, а поезд не вытянуть.

— А вот тот машинист иначе придумал, — сказал Ваня и показал на паровоз эшелона.

И мы увидели возню около русского паровоза.

Они решили растопить снег и так напоить паровоз.

Станция с эшелонами и нашим поездом скрылась за поворотом.

По обеим сторонам пути выросли и так же быстро скрылись скалы. Мы проскочили каменную выемку.

— Айрола... — спросил я своего машиниста, подбросив три лопаты угля в щуровочное отверстие. — Айрола, как же ты сейчас угрожал мирным людям своим браунингом? Кто прав, тот всегда сумеет убедить без оружия... Это ведь твоим слова...

Айрола не сразу ответил. Он переставлял рычагу и обдумывал, как провести паровоз с минимальным расходом воды. Помолчав, он, смущаясь, ответил мне:

— Но, Эйно, было ли время на раздумье! Ушла бы вода — взорвался бы котел. Паровоз доверен мне, и я обязан доставить его в целости. А потом, мы должны ехать скорее: хлеб ждут.

Паровоз шел вперед полным ходом, хотя Айрола и берег пар. Поршень плавно толкал колеса. Я загребал уголь лопатой. Айрола выглянул в окошко.

— Только бы не было заносов, — озабоченно произнес он.

— Видишь, Айрола, ты отвечаешь за паровоз и, защищая его, хватаешься за револьвер — применяешь насилие. А революционное правительство, Советская власть отвечает за судьбу революции, судьбу всего народа. И здесь иначе тоже поступить нельзя, когда бунтует буржуазия. Нет времени: уйдет вся вода — и тогда паровоз не потянет...

Айрола хотел что-то ответить, но затем призадумался и молчал довольно долго — и крыть ему было нечем, потому что не мог он гладить кошку, вместо того чтобы накормить ее как говаривала моя мать.

Мы паровоз вздрагивал от нетерпения.

Солнце закатывалось за дальние леса — облака и все небо стали розовыми.

Через полтора часа такого хода с водой, едва покрывавшей топку, мы в полной темноте дошли до первого семафора.

На нем не было ни красного, ни зеленого огня. Около него не видно было ни живой души, и мы не знали, открыт или закрыт путь.

Станции, скрытой за поворотом, нельзя было увидеть, тем более что путь был высечен в огромной скале, которая крутыми уступами поднималась по сторонам... Айрола ругался последними словами.

Мы проскочили семафор. Через две минуты промелькнули огоньки станции. И, миновав ее, паровоз наш подкатил к водоналивной колонке.

До чего было приятно слышать, как булькает вода, сильной струей льющаяся по рукаву в водохранилище нашего тендера!

— Смотри, смотри!... — толкнул меня локтем в бок Айрола.

И в голосе его я услышал изумление.

Я высунулся из паровоза и увидел, что по платформе медленно движутся какие-то темные тени. Как будто стая собак.

— Смотри, Айрола, смотри, как блестят их глаза!

— Волки, волки! — прошептал Айрола.

И хотя мы находились на высоком паровозе, около раскаленной топки, мне стало жутко.

— Где же здесь люди?

— Неужели все вымерли? Как это может быть, чтобы по станции разгуливали волки?

Воды у нас уже набралось — хоть залейся.

Айрола, давая тревожные гудки, чтобы распутать волков, подвел паровоз к освещенному замерзшему окошку здания. Волки отбежали шагов на двадцать от паровоза, но не уходили со станции. Зеленоватыми угольками блестели их глаза.

— Эйно, придется все-таки тебе сходить в дежурку и сказать дежурному, чтобы он не забывал путей и следил за семафором и что мы скоро приведем наш поезд.

Айрола остановил паровоз и, давая тревожные гудки, с шумом выпустил пар. Волки растворились в темноте.

Я проверил, заряжен ли мой маузер, и, сойдя с паровоза, перебежал через платформу.

Айрола в это время давал отчаянные, тревожные гудки, способные разбудить весь мир.

Я распахнул дверь дежурки. Положив голову в форменной фуражке на стол, сладко спал дежурный.

Я грубо толкнул его в плечо.

— Чего?

— Поезд наш идет, освободи ему путь, соблюдай сигналы! — стал кричать я на него, не скрывая своего раздражения.

— Чего кричишь? — равнодушно сказал он. — Твой поезд дошел, и слава богу. Нет теперь начальников, чтобы орать... Революция у нас теперь! — добавил он и усмехнулся.

— Не клевети на революцию, чиновник! — заорал я на него, совсем выйдя из себя.

Это был явный саботажник.

— А ты что, ее доверенный, что ли? — не обращая никакого внимания на мое раздражение, продолжал он.

— Да, доверенный! — решительно сказал я и увидел на стуле две огромные буханки совсем белого пшеничного хлеба и нетронутую крынку молока.

— Чего он там старается? — спросил дежурный, только теперь услышав тревожные гудки Айрола.

— Волков пугает! — отрезал я.

— А у нас они не в диковинку, — спокойно сказал этот невозмутимый парень.

— Хлеб-то продаешь?

— Бери.

— За сколько?

— Сколько дашь.

Я вытащил из карманов своих рабочих брюк двадцатирублевую кепку.

— Хватит за пару хлебов.

— А молоко?

— Пей так.

И я стал жадно пить свежее молоко. Оно было такое вкусное, такое жирное и приятное, совсем как в детстве. Затем я взял каравай под мышку и, сказав дежурному, чтобы он готовил уголь и жезл и что мы скоро приедем, побежал к паровозу.

— А вы без жезла приехали, без жезла и езжайте дальше! — крикнул он, закрывая за мною дверь.

Паровоз наш шел обратным задним ходом, рассекая сетку все густевшего снегопада. Без стрелочника на станции трудно было развернуться.

Прощайте, господа волки!

Я уплетал за обе щеки свежий, душистый хлеб.

Как жалко, что рядом со мною не было тебя, Тюне, и приятеля Линола. Вот бы устроили тогда мы пиршество!

Как был вкусен хлеб! И как хорошо, что можно было есть вдоволь, сколько угодно!

Айрола тоже поел.

Время от времени он открывал клапаны, и раздавался оглушительный вой гудка.

Не раздавить бы кого! Не столкнуться бы со встречным!

— Мы, машинисты, — говорил он, — живем всегда на семьдесят метров впереди своего паровоза. Если человек лежит, или рельса нет на месте, или встречный — дальше семидесяти метров, тогда от нас зависит, будет ли крушение или сумеем затормозить, остановить. Если ближе семидесяти метров — считай, что человека нет. Крушение наверняка... Мы, машинисты, живем на семьдесят метров впереди своего паровоза! — убежденно повторил он.

На этот раз никаких происшествий не случилось, и мы с фасоном подлетели к станции.

Около нее были разложены костры, и вся она походила на зимний бивак какого-то сказочного похода.

У встречного паровоза по-прежнему шла возня. Солдаты растопляли снег и ведрами вливали воду в баки тендера. Нужно было еще несколько часов работы, чтобы таким образом добыть необходимое количество воды.

Наш паровоз снова повел состав в дальний путь.

Хлеба уже не было. Ваня и красногвардеец помогли мне уничтожить его.

Ваня даже отломил горбушку и спрятал в карман.

— Ханне, — спокойно объяснил он мне.

Теперь хлеб всей своей тяжестью улегся в желудке и заставлял мечтать о сне.

Я, пожалуй, уговорил бы Туомио раньше выйти на работу, мне в помощь, как было условлено, если не одно обстоятельство.

Когда мы разводили пары, готовясь к отходу, ка паровозу подошла молоденькая девушка.

— Товарищи машинисты! — сказала она.

Пламя топки отражалось в ее глазах; вся она чем-то неуловимым напомнила мне тебя, Тюне! Сколько времени мы с тобою в разлуке, и даже до середины России еще не доехали!

— Дорогие товарищи машинисты, мне во что бы то ни стало надо скорее в Екатеринбург, к больному жениху. На поезда никак не попасть. Провезите меня хоть несколько станций.

— Айрола, — сказал я машинисту, — к нам просится девушка.

— Пусть сидит здесь, на свету! — приказал Айрола. — И ей теплее, и на виду.

Он был трогателен и глуп.

Разве нужен мне кто-нибудь на свете, когда ты, дорогая Тюне, ждешь меня в Суоми!

Наверно, белые уже разбиты и ты возвратилась в Хельсинки!

Когда я раскрываю бумажник, мне всегда в глаза бросается твой портрет.

Незнакомке сразу же пришлось расстегнуться, раскутаться, снять теплые платки. Смею заверить тебя, это была замечательная девушка, — уж я-то в девушках толк знаю, если захорюводил тебя!

Но надо, черт дери, поворачиваться живее, сбрасывать уголь в раструску, и чтобы укладывался он как полагается и пламя было ровное, а не боковое, когда у стенок наваливается грудa угля, а в середине слой тоньше.

Незнакомка очень вежливо разговаривала и все больше склоняла разговор на политику. И, к моей радости, в словах ее я чувствовал наши слова, нашу революцию — большевистскую.

Мне оставалось только поддакивать, к тому же под конец смены лопата и уголь становятся очень тяжелыми.

Айрола спорить не мог.

Во-первых, после того случая, когда он вытащил браунинг, у него было меньше охоты спорить; во-вторых, потому, что он почти ничего не понимал из того, что говорила незнакомка. И, кажется, даже сердился на это.

Разные бывают на свете женщины, и та, которую мы взяли на паровоз, вероятно, тебе понравилась бы так же, как и мне.

Узнав от меня подробности о нашем поезде, она радостно вздохнула:

— Как это хорошо, что в Финляндии тоже вспыхнула революция!

— О, она бы вспыхнула еще в ноябре, если бы не такие! — И я показал ей лопатой на Айрола.

— Чего ты там рассусоливаешь? — рассердился он и выглянул в окошко.

Мы пролетали во тьме зимней ночи. Мокрые хлопья снега залетали к нам. Попадая на стенки топки, они шипели, как масло на сковороде.

— Скоро будет революция и в Германии, и во Франции, и во всем мире! — убежденно сказал девушка.

И я был с нею согласен. Она разоткровенничалась.

Никакого больного жениха и в помине не было.

Она была студентка Пермского университета, агитатор губернского комитета партии и сейчас возвращалась обратно, совершив большую поездку по губернии.

— Мы национализировали уже все заводы в нашей губернии! — радуясь, сказала она. — Беда только, что отряды Красной гвардии очень плохо вооружены. Вот в трех верстах от следующей станции на заводе одна винтовка приходится на четырех красногвардейцев.

— Товарищ Мария... — сказал я ей. Я на всю жизнь запомнил ее лицо и имя, но вот фамилию забыл еще до первого семафора. Русские фамилии трудно запоминаются. — Товарищ Мария, мы возьмем с собой чуть ли не два вагона конфискованного оружия. Мы его забрали у анархистов, нам оно совсем не нужно, и мы с удовольствием отдадим его заводским красногвардейцам.

Надо было видеть, как она обрадовалась, услышав эти слова!

Я объяснил Айрола, в чем дело. Он был согласен со мной — незачем нам дальше везти оружие. Так мы и порешили.

И вот снова слепой семафор, но у нас еще есть вода, поэтому ничего не стоит замедлить ход, а потом мы уже проходили здесь, и Айрола помнит профиль дороги.

Мы подошли снова к водоналивной колонке.

Я потянулся за шлангом.

Мария спустилась по лесенке вниз и сразу стала белой от налипшего на нее снега. И нужно было напрягать зрение, чтобы не потерять ее, пока она быстро переходила пути к станции.

Вдруг раздался выстрел. Стреляла, наверно, она.

Туомио подходил уже к паровозу.

Я соскочил ему навстречу и побежал к станции.

— Туомио, за мной! — крикнул я ему. — Пассажирка в опасности!

— Как, ты взял пассажирку? — изумился приятель.

— Подробности после!

— Зачем вы стреляли, Мария? — спросил я, задыхаясь, когда догнал ее.

— Я убила волка, — ответила она.

И вместе вошли в помещение.

Дежурный опять спал.

Мы его разбудили.

В комнату вошел комиссар и стал методически счищать снег со своей одежды.

Я познакомил его с Марией. Они быстро договорились.

— Надо будет выгрузить оружие, — сказал он. — Задержка на час-полтора, а затем дальше... Дай жезл.

Но дежурный жезла дать не мог, так как в его распоряжении не было ни одного.

Мария стала расспрашивать, нельзя ли найти лошадь до завода. Но лошадей на станции нельзя было достать.

— Я пойду тогда на своих двоих, — решила она. И вытащила из сумочки бутерброд. — Вот подкреплюсь и пойду.

— Послушайте, Мария, — сказал я, — сейчас метель, темно, волки!

— Против волков у меня есть приспособление. — И она, улыбнувшись, показала револьвер. — Стрелять я умею — вы сами в этом убедились; дорога здесь прямая — и слепой пройдет.

— Подождите утра.

— Рабочие должны быть вооружены немедленно. Контрреволюционеры могут выступить каждую минуту. И потом, скажите: почему вы не ждете, не медлите с доставкой хлеба в Суоми? Ведь ночь, холодно, волки... — смеясь, продолжала она.

Хлопнув на прощание дверью, Мария ушла со станции.

Я слышал, как со скрипом и грохотом отворялись двери вагонов, где было свалено конфискованное оружие.

Наши готовились к выгрузке.

Я вышел из помещения.

Ветер сразу же бросил мне в глаза пухлый и мокрый снег. Но даже при этом ветре слышно было, как жалобно гудят провода.

Я представил себе, как Мария по такой погоде шагает одна-одинешенька к заводу; у меня сжалось сердце, и я побежал к паровозу.

Чудесная девушка! Как она радовалась нашему решению, улыбалась, подробно расспрашивала о числе винтовок, о патронах. И при этом ее синие глубокие глаза светились.

Вот теперь и Россия встает перед нами, как эта прекрасная девушка, голодная, с сияющими глазами, восхищенная тем, что уже ею сделано, но еще больше тем, что предстоит совершить.

Айрола с Туомио и сменным машинистом о чем-то громко разговаривали в тендере.

Сменный машинист говорил о том, что он боится в такую погоду вести поезд по незнакомым местам. И что на пути наверняка есть снежные заносы.

— Надо вести! — настаивал Туомио.

И тут я взглянул на топку и обмер.

Какой позор! Я оставил открытой шуровочную дверцу!

Разговаривая об оружии с Марией и Айрола, я забыл наставление о раструске и бросал уголь в топку как придется, без раструски. Такая закидка осаживает слой топлива, уплотняет его, заглушает каналы и прекращает доступ воздуха и в слой угля, и в топочное пространство — и вот результат: топка моя заглохла.

И я стою с лопатой в руках перед топкой, как болван.

Нет, не пошли мне впрок лекции Туомио о спекающихся углях, об углях длиннопламенных, о тощем и жирном угле, о шлаке и об антраците.

Теперь придется очищать топку и снова растапливать, поднимать пар. Моя оплошность задерживает поезд не меньше чем на шесть часов, а то и больше. Я зачеркиваю своим преступлением героическую работу слесарей и Вани.

Рядом со мной стоят уже Туомио, сменный машинист и Айрола. Они смотрят на заглохшую топку и на меня.

Они сразу понимают, в чем дело. И отчаяние, написанное на моем лице, очевидно, удерживает их от брани.

Но мне это молчание тяжелее сносить, чем самую оскорбительную ругань.

Айрола, наверно, думает о том, что это все из-за Марии и что рассуждать о политике легче, чем работать. кочегаром.

Машинист, видимо желая успокоить и утешить, хлопает меня по плечу.

— Не волнуйся, паренек, не волнуйся.

Как тяжела мне его снисходительность!

— Не волнуйся, я и то думал, что пора нам почистить основательно топку.

— Товарищи, через полчаса мы все выгрузим, и можно будет отправляться, — всовывает к нам свою запорошенную снегом голову комиссар.

— Не выйдет, — тихо говорит Айрола. — Мы должны основательно почистить топку.

— Ну, тогда я пока не буду выгружать оружия в снег, говорит комиссар и исчезает в темноте.

— Только быстрее, ребята! — доносится к нам из вьюги.

Будят сменщиков. Меня и Айрола отпускают спать. Мы и так поработали сверх срока.

Но я долго не могу заснуть. Меня мучает совесть. И мне очень стыдно и перед товарищами, и перед голодными хельсинкскими ребятами, и пред тобой.

## VII.

Я просыпаюсь. Солнце светит в промерзшее стекло. Я покрыт двумя одеялами, пальто, и все-таки очень холодно.

В кухне пусто. Но коридору кто-то пробегает мне слышны быстрые шаги, хлопанье дверей и голос:

— Закутайся получше!...

Это Ханна кричит своему Мальме.

Потом я слышу голос комиссара:

— Лопат не хватает придется что-нибудь приспособить.

Я быстро одеваюсь и, не умывшись, выскакиваю из вагона.

От холода захватило дыхание.

Вижу комиссара, лицо его укутано шерстяным платком.

Яркое солнце сияет в каждой снежинке так, что становится больно глазам. А снегу-то ночью навалило сколько!

Почти весь наш состав остановился в выемке, проделанной строителями дороги в скале. Только передние вагоны, классные и багажные, вышли вперед. И вот только они и видны, остальные целиком — так что ни колес, ни крыш не видать — засыпаны снегом. И вся выемка чуть ли не доверху, метра на четыре, наполнена свежим выпавшим за ночь снегом. Откуда-то из-за выемка слышны голоса.

Это кричат красногвардейца из последнего вагона.

Однако как это крик их доходит из-под снега?

— Дура ты! — объясняет мне Ваня («дура» здесь считается гораздо оскорбительнее, чем «дурак»). — Это не из-под снега. Последние вагоны ведь не в выемке стоят, их не замело. Вагонов двадцать засыпало...

— Тоже хватает! — прерывает его излияния комиссар. И обращаясь ко мне: — Тебе бы сейчас полагалось со своими красногвардейцам быть. Видишь, им без тебя сюда не добраться.

Я сам чувствую двойственность своего положения: как начальнику охраны, мне бы действительно следовало быть в хвостовом вагоне, как кочегару — отдыхать в классном.

Паровоз наш тщетно пытается сдвинуть с места поезд. Маленький, еле заметный толчок. Вот и все, что получается от всех его усилий.

Он пыхтит, шипит, выпускает пар.

— Теперь, наверно, в каждой выемке столько снега, — меланхолично говорит Туомо. — Трудновато будет проехать!

Комиссар отдает распоряжение всем взять лопаты, и совки, и все, что есть похожего на лопаты, и приниматься за работу.

Другого выхода, конечно, нет. Но всем еще до начала работы ясно, что на откапывание уйдет уйма времени, тем более — лопат не хватает.

Мы поднимаем на ноги всю бригаду.

Интересно знать, что делает охрана?

Помогают ли они там или только бранятся?

Один из кондукторов вовсю старается — он орудует простой доской.

Ханне лопаткой служит большая круглая сковородка с длинной ручкой.

Мы работаем. Но даже после получаса усиленной работы результаты ее почти не видны.

— Это все равно, что стаканами вычерпывать озеро, — говорит Мальме, переводя дыхание.

Наш паровоз, подняв пар, с разбегу подходит к поезду. И снова только легкий толчок, от которого даже не осыпаются снежинки.

Паровоз делает отчаянные усилия сдвинуть с места состав.

Мы все бросили работу и с замиранием сердца следим: вытащит, не вытащит? Вытащит!... Не взять!

И вдруг рванул, взял, пошел!

— Урра! Урра!

Поезд идет, как ему и положено идти. Но наша радость быстро сменяется разочарованием.

Да, поезд идет — по рельсам; но этот поезд состоит всего из паровоза, тендера, вагона-склада, вагона-кухни, классного вагона и одного товарного. Остальные по-прежнему погребены под снегом и покоятся на рельсах без малейшего признака движения.

— Авария... — мрачно бормочет себе в усы Карвонен. — Авария! Вырван крюк!... А ну, за работу! — командует нам комиссар.

И мы все с остервенением принимаемся откапывать вагоны из-под снега.

С трудом открывая дверь, засыпанную снаружи плотно прилегающим снегом, из станционного помещения выходит вчерашний дежурный.

Он жмурится от яркого света и, приставив ладонь к козырьку, несколько секунд любуется на нас. Потом куда-то уходит.

Как Мария? Дошла ли она?

Дежурный притащил со станции три большие деревянные лопаты, предназначенные для очистки снега.

Мы его благодарим и с удвоенной яростью принимаемся за наш труд.

Он же стоит, как каменное изваяние, и смотрит на нас, потом растирает уши снегом и вежливо отвечает:

— Не стоит благодарности! — И, постояв минутку, уходит обратно к себе на станцию. Закрывая дверь, он кричит нам: — Снегоочиститель с платформой к вам на подмогу с завода вышел!

Он, кажется, смеется над нами.

Мы продолжаем работать молча. А после часа такой работы необходимо выпить хотя бы стакан воды или кофе и немного подзакусить.

Ханна, проделывая чудеса со своей сковородкой, не рассчитала, копнула глубоко и загребла слишком много снега. Ручка сковородки отломалась. Ханна очень огорчена.

— Перевели ей, Эйно, мои слова, — говорит Ваня. — Ханна, не печалься. Я припаяю все как полагается. Лучше иди сейчас и приготовь завтрак.

И Ханна ушла на кухню.

Но сегодня мы решаем завтракать поочередно, чтобы ни на секунды не прекращалась работа.

Крики охраны перестали доходить до нас. Наверно, мои красногвардейцы тоже занялись делом. Из кухни начинают возвращаться ребята.

И у всех у них разочарованный вид. Некоторые даже отплеиваются.

Ваня, конечно, как обычно, ругается вовсю:

— Нет, ты понимаешь, на этой паршивой станции нет чистой, хорошей воды! Колодец один, да и тот замерз, а вода из шланга как венское питье: солоновато-горькая... Ханна мне рукой машет — и ней, значит. А я думал, что она смеется, и залпом глотнул стакан. Нет уж, спасибо!

Айрола тоже говорит о том, что, здешнюю воду нельзя пить.

Черт дер! Если бы из-за меня не заглохла топка, поезд наш был бы далеко от этой забытой богом, занесенной снегами станции, на которой даже нет приличной питьевой воды.

Мы работаем как черт знает кто — и вдруг слышим свистки и гул и видим: справа движется к станции снежная буря.

Снежный порог, падун.

Что бы это могло значить?

Дежурный снова выходит на платформу.

Нет, он не врал. Действительно, по подъездному пути и нам навстречу, расчищая путь, разгоняя по сторонам снежные залежи, идет, ревя и грохоча, снегоочиститель и тянет еще за собой платформу, и на платформе чернеют человеческие фигуры.

Как мы до сих пор не заметили этого подъездного пути?

— Куда это ветка? — спрашивает комиссар дежурного.

— К заводу, — отвечает дежурный и снова уходит к себе.

Снег бурлил и кипел под щетками снегоочистителя, как водопад на Иматре. Наконец, подойдя чуть ли не вплотную к нашему паровозу, снегоочиститель остановился. С открытой платформы, которая была к нему прицеплена, соскочило больше двадцати человек. Они были одеты как придется и самых разных возрастов — бородачи, лица которых морщинисты, как кожа черепахи, и совсем безусые, розовощекие парни. Двое были вооружены. Соскочив с платформы, они сразу же стали бегать на месте, хлопать ладонью о ладонь, оттирать лица снегом и бороться друг с другом.

На платформе стояло несколько больших бидонов, в каких обычно перевозят молоко, и лежала грудa лопат.

Старший подошел к нашему комиссару:

— Это финский революционный поезд?

— Да.

— Я — литейщик, помощник начальника Красной гвардии здешнего завода. Товарищ Мария, — и он назвал фамилию, которую я забыл, — послала нас к вам за оружием.

— Да, у нас есть для вас оружие, — ответил комиссар. — Только оно под снегом, берите его. — И он показал на занесенные снегом вагоны.

— А мы это знали, мы откопаем! — развеселился литейщик. — Лопаты с собой прихватили.

И они сразу же, не теряя времени на лишние разговоры, приступили к работе.

— Давай наперегонки: с одной стороны ваши копают, с другой — мои. Чья возьмет!

— Ладно, — сказал комиссар.

И мы поднажали на работенку.

Через полчаса видно было, как русские красногвардейцы легко нас обштопывают.

— Нам после литейной или прокатной это просто отдых на чистом воздухе, — шутил литейщик.

— Твои небось с утра подзаправились, — вызывающе сказал Ваня, — а у нас во рту маковой росинки сегодня не было! Вода у вас — скот травить!

— Не жалуйся, Ваня, — сказал я ему.

Туомио достал с паровоза запасную тяжелую лопату.

Он швырял в сторону снег с таким видом, словно стоял у топки и шуровал. Кондуктора выбивались из сил.

Услышав Ванину жалобу, литейщик хлопнул себя ладонью по лбу.

— Вот башка дырявая! Мы знали, что на станции воду нутро не принимает. Специально, товарищи, для вас три бидона молока привезли и хлеба мешок. Мария велела.

И он послал людей тащить с платформы драгоценный груз.

— Куда прикажете?

Комиссар распорядился, чтобы несли на кухню.

— Пусть Ханна согреет нам немного молока.

Пока красногвардейцы таскали бидоны с молоком, мы поднажали.

— А ну, а ну веселей! — покрикивал старший литейщик на своих людей.

Просто удивительно было, как быстро пошла работа. И работать как будто легче, и не так холодно.

Правда, дело к полудню приближается. Часам к двум дня отрыли мы из-под снега наш поезд настолько, что паровоз мог взять состав, не срывая с вагонов прицепные крюки. Как только состав тронулся и поезд пошел, мы не выдержали и все враз — и русские красногвардейцы и наша бригада — в один голос закричали:

— Ура!

Подали к самой станционной площадке два вагона с сорванным пломбами и с оружием, отобранном у анархистов.

— Отняли у анархистов, передаем большевикам! — гордо сказал комиссар.

И вместе с литейщиками пошли они в дежурку составлять акт сдачи оружия, а красногвардейцы принялись выгружать из наших вагонов винтовки, револьверы, патроны, гранаты. Я же побежал к последнему вагону, к своим красногвардейцам, которые заперлись сейчас в вагоне и не подавали никаких признаков жизни. Я постучал.

Дверь отворил Вирта. Пять человек с увлечением чистили свои винтовки. Пальцы их лоснились от ружейного масла. Шомпола и протирки лежали на скамейке.

С особым азартом прочищал шомполом канал винтовки длинный Лейно.

Четверо сидели, поджав ноги, и играли в карты.

— Так ты говоришь, что козырной туз у тебя? — учтиво спросил один игрок другого.

— Да, говорю.

— Так вот съешь это!...

— Товарищи! Что вы делаете весь день?

— Как — что? — изумились они.

— А разве можно было что-нибудь делать?

— Мы покричали немножко, инструкции не получили, ну и сели играть в карты — время скоротать. Тем более что нашлись охотники почистить наши винтовки.

— Это недостойно революционного красногвардейца! — сказал я возможно решительнее и, взяв колоду, разорвал ее в мелкие клочья.

Да, я вижу, что напрасно несколько ночевок провел в классном вагоне.

По правде говоря, парни-то у меня все отличные, и все добровольцы, и все хотят драться с врагами. Я сам виноват, что не занимался с ними как следует.

К нам прицепляют вагон с оборвавшимся сцепным крюком, и наш вагон с этой станции перестает быть последним. Паровоз уже дает гудок.

Я выскакиваю последний раз на перрон.

Дежурный где-то разыскал жезл и сует его нашему машинисту. Стрелка переведена как надо.

— Впереди нас пойдет снегоочиститель, — говорит комиссар. — Спасибо за помощь, товарищи!

— Да не стоит благодарности! — уклоняется литейщик. — Не знаю уж, как вы дальше проедете: там мост через реку взорван.

— Переедем! — уверенно говорит комиссар.

— Переедем, — повторяю я за ним, но сердце у меня падает.

Поезд наш двигается с места.

— Товарищ, товарищ! — кричу я с подножки литейщику. — А почему сама Мария не приехала с вами на станцию?

— У Марии обморожены ноги, она лежит в заводской амбулатории! — кричит он мне и машет на прощание рукой.

Прощай, станция, прощай Мария! Прощай навсегда!

Впереди нас идет снегоочиститель.

Пожалуй, мое преступление не принесет несчастья.

Если бы не задержались на станции, не было бы снегоочистителя. Он идет впереди, как водопад.

Без него мы могли утонуть в снегу на первой же версте.

Ребята набили до отказа свои животы белым хлебом.

Сейчас они лежат и блаженно улыбаются.

## VIII.

Сколько верстовых столбов оставили мы за собой! Две тысячи. Ночью мы проехали столб с дощечкой, на одной стороне которой написано «Европа», на другой — «Азия». Мои ребята по этому случаю дали залп в воздух.

Урал! Дорога извивается на его отрогах, как уж.

Вертимся, вертимся мы по этому пути часа два-три, чтобы потом увидеть, что не ушли никуда, а только поднялись вверх — и вот виднеется внизу ничтожным спичечным коробком полустанок, который мы оставили, кажется, так давно.

На склонах гор стоят бесконечные сосновые леса. Когда наш поезд останавливается на полустанках, нас сразу окружает такая тишина, как в сказке о спящей красавице.

— Молодчина этот Рахья! — радуется Айрола. — Очень приличные профиля вычертил. Кое-где неточно — я подправлю для следующих поездов. Но какой молодец!

На остановке Ханна хвастается сковородкой, которую Ваня починил так хорошо, что она стала лучше и прочнее, чем новая.

Туомио сообщил мне по секрету, что он уже выучил всю азбуку Морзе... Откуда у него хватило времени на это? Прямо удивительно.

В нашей теплушке всех потешает своими рассказами самый высокий и самый тощий из моих красногвардейцев — Лейно.

Сегодня, когда я в своей смене на паровозе шуровал, в песочницах замерз песок и перестал сыпаться на рельсы. Рельсы скользкие, поезд наш очень длинный, вагоны идут порожняком — сцепление с рельсами, значит, неважное: никак без посыпки песком не обойтись — колеса на месте скользить будут, а песочница, как назло, ни тпру ни ну. Хоть плачь. Паровоз работает с полной нагрузкой, а движемся медленнее черепахи.

— Э, нельзя же здесь замерзать нам, надо и до стокеров дожить, — сказал Туомио и, взяв большую лопатку и ведро из вагона-склада, соскочил с поезда.

Он побежал сбоку, проваливаясь в снег, и скоро обогнал паровоз и ушел далеко вперед.

Так пассажиры, когда приходится проходить много шлюзов, обгоняют свой паровоз и ждут его у какого-нибудь четвертого, пятого шлюза. Так Туомио обогнал поезд.

Мы все смотрели и ждали, что же он будет делать.

А он своей лопаткой снял снег с земли и потом стал разрыхлять песок насыпи, крошить добытые смерзшиеся комья песка и насыпать в свое ведерко. Наполнив его до краев, он ждет, пока паровоз дотянет весь длинный состав до того места, где он стоит, и передает кондуктору ведро, а сам берет другое — заранее приготовленное. Он велит кондуктору сесть на предохранительную решетку, что впереди паровоза, и посыпать вручную.

Вместе с Туомио теперь обгоняют паровоз уже три человека; смеясь и переругиваясь, они выгребают из-под снега песок.

И вот уже два человека сидят на решетке, как на носу паровоза, и сыплют на рельсы, под колеса, песок.

Поезд увереннее движется по рельсам. Паровоз наш ускоряет ход.

И тем, кто набирает песок, нужно идти вперед уже не медленным шагом, а бежать, как бегут спринтеры на короткие дистанции. Но они рады этому развлечению, и, глядя на них, веселятся все.

Впереди — как герольды в сказках Гопелиуса — бегут добытчики песка. Над самыми фонарями сидят кондукторы и вручную посыпают песком путь.

И так наш поезд продвигается вперед по Уральским горам. Ты себе не можешь представить всего великолепия этой картины!

Когда наступает темнота, комиссар решает разделить наш поезд на две части и так вести до конца Уральских отрогов. Сначала паровоз выводит к станции и там оставляет первые двадцать вагонов. Потом идет обратно и подводит к станции вторые двадцать вагонов.

Так решил комиссар, и нам, охране, ничего не оставалось, как пойти в свой вагон и лечь спать до первой тревоги... Я рассказал своим парням перед сном, как мы относимся к русским социал-демократам, какая разница между большевиками и меньшевиками и почему большевики сразу признали независимость Суоми.

Ночь прошла без всяких тревог и авралов.

Утром подошла моя очередь стоять у топки.

В результате этой поездки я стану сносным кочегаром. Сейчас мне работается гораздо легче, чем в первые мои смены, и в следующий раз я возьмусь исполнять уже и другие обязанности кочегара.

Как за ночь изменился вид окружающего нас мира! Нигде уже не видно гор. Наш поезд идет во всю силу своих котлов и поршней по широкой равнине. По всему горизонту стоят темные леса и светит солнце. До чего великолепен и обширен мир!

— Ты не шути, Эйно, — сказал мне совсем серьезно Айрола, — комиссар сегодня ночью действительно спас нам жизнь.

Мимо нас пролетали снежные равнины и леса.

Литейщик был прав. Мост через широченную реку взорван.

В среднем пролете одни скрюченные балки тянутся к небу, другие устало склоняются ко льду.

Каменные быки с обычным упорством недвижно стоят на своих местах. Но их выносливость на этот раз бесполезна. Среднего пролета нет.

Мы закручинились, потому что никто из нас не мог придумать, как перевести поезд.

Наш поезд остановился около дорожной будки.

Смотритель, который остался оберегать мост, подошел к паровозу и сказал невнятно:

— Вам повезло: сегодня приехали... а приехали бы три дня назад — пришлось бы так и стоять.

— Что он говорит? — спросил Айрола.

Я сам толком не мог понять, чем доволен старик, но слова его перевел Айрола.

Айрола стал всматриваться в то, что творилось на этом берегу реки, на льду и на противоположном берегу.

— Сегодня уже третий состав переходит по льду, — гордо заявил старик, поглаживая редкую бородашку. — Молодцы саперы-железнодорожники! Они не только взорвать, они и построить сумеют.

И, словно отвечая на его слова, Айрола обрадованно толкнул меня в бок, так что я просыпал уголь с лопаты.

— Смотри, смотри, Эйно, они проложили рельсы по льду. По льду проложили путь, черт бы их побрал!

Ежели вам обратно нужно, торопитесь, не смотрите, что сейчас холодно. Не за горами и Арина — сорви Берега... В России Родион — ревучие воды, а у нас в Арину — сорви берега ледолом начинается.

Рахья ничего не сказал нам про взорванный мост. Значит, успел проскочить еще по целому.

Все население нашего поезда высыпало из вагонов.

Комиссар, Айрола, Туомио и я, сдав свою лопату сменщику, пошли посмотреть на диковинный путь, пролежавший по льду реки.

Туомио, присев на корточки, внимательно стал разглядывать рельсы.

Снизу были рельсы; на рельсы, крепко привинченные, легли пропитанные креозотом шпалы; поверх шпал, уже как обычно, были положены обыкновенные рельсы.

Неужели поезд может пройти по льду? Мне кажется, что лед этот с трудом выдерживает тяжесть самого пути.

— Все зависит теперь от тяжести паровоза и крепости льда, — резонно ответил Айрола.

— Никогда не слышал о подобных дорогах. Думаю, их нигде не было!

Но меня осадил комиссар:

— Эйно, у тебя склонность к преувеличениям. Лично я знаю еще два таких примера. Иногда в Архангельске в суровую зиму прокладывают путь от вокзала к городу по льду Северной Двины; а во время войны русских с японцами через Байкал была проложена ветка, чтобы не кружить по берегам.

Он помолчал и затем улыбнулся:

— Правда, в конце концов паровоз провалился под лед. Ерундовый был паровоз — я его спустя много лет увидел. Он тогда уже бегал по дачным местам.

Тут речь комиссара была прервана криками и выстрелами в воздух. К нам с другого берега бежали вооруженные люди. Они стреляли в воздух и делали нам знаки, чтобы мы отошли от рельсов.

Мы выполнили их требование — и тогда они, видимо, успокоились.

Это не русские солдаты, хотя в их речи я и мог уловить порой отдаленное сходство с русской.

Это и не латыши, и не немцы, и не австрийцы, хотя они и были одеты в форму австрийских солдат.

Да, не в пример нашим и русским красногвардейцам, одеты они были превосходно.

Солдаты эти оберегали новые пути по льду, которые они же сами проложили.

Закончилась постройка, как говорил смотритель моста, сегодня ночью.

Нет, они ничего не имели против того, чтобы наш поезд прошел по их пути. Они только требовали точного соблюдения их правил.

А какие это были правила, мы не могли понять, пока не пришел их унтер-офицер. Он по-русски говорил не лучше нашего комиссара, и если комиссар недостающие ему русские слова заменял шведскими, то унтер точно так же ввертывал в свою речь немецкие.

Но все же им удалось довольно скоро сговориться, хотя сначала комиссар решительно протестовал против отдельных пунктов соглашения; однако иностранный унтер был непреклонен.

Он должен был лично убедиться, что мы не везем никакого оружия.

Пришлось сбить все пломбы с дверных запоров. Он сам заглянул в каждый вагон. И осмотр этот его вполне удовлетворил.

Наши вагоны, как это тебе известно, были совсем пусты.

Теперь до Омска нам идти без пломб, и моей охране прибавляется работа — следить, чтобы в вагоны не набирались безбилетные пассажиры.

Вторым его условием было — но это уже чистая техника, а не политика, — чтобы паровоз наш не перетаскивал по рельсам, проложенным через лед, больше пяти вагонов сразу.

— Если с грузом, тогда можно только два. — И унтер многозначительно поднял руку. Ее обтягивала белая лайковая перчатка, совсем как у полицейского.

— А нельзя ли ваш паровоз совсем здесь оставить для переправы? — осведомился смотритель моста. — Легкий он!

— Молчи, молчи, — шикнул на него Ваня.

И тот замолчал.

Потом Ваня тихо спросил сторожа:

— Что это за люди?

— Люди-то они чистые, деловые. Чехословаки. Хоть и не за красных, кажется, а есть и среди них хорошие.

И в самом деле это были чехословацкие части, укомплектованные из военнопленных. Они в то время продвигались — согласно договору с Совнарком — на восток.

Наш паровоз с пятью первыми вагонами медленно пошел к реке.

Саперы действительно были молодцами. Они так ловко набросали, утрамбовали снег, что спуск на реку был почти незаметен.

Был предвесенний солнечный день.

Глаза болели от белизны сияющего на солнце снега. И было ясно: хотя мороз и пощипывал подбородок, зиме скоро конец.

Паровоз шел медленно — это тоже было техническим условием.

Мы бежали рядом и смотрели, как прогибаются под тяжестью вагонов рельсы, как мелкой-мелкой дрожью дрожит снежный балласт.

Мы шли затаив дыхание, и только раз показалось нам, что мы слышим треск подающегося под тяжестью льда.

Тогда я взглянул на комиссара — лица его было бледно. Туомио судорожно зевал. Ваня сорвал с головы шапку и запустил пятерню в свои непокорные волосы.

Но это была ложная тревога. Странно только, что все мы слышали этот треск.

Я остался на другом берегу — поджидать, пока не переведут весь поезд.

В следующие рейсы из предосторожности паровоз брал с собой только по четыре вагона и вел их еще медленнее. На переправу ушел целый день.

Я смотрел, как ползут по белому снегу через реку наши черные вагоны, и мне становилось ясным, почему наш поезд называют траурным.

Вот он приближается к этому берегу, к кострам, разложенным на откосах, у которых чехословаки кипятят себе чай и поджаривают свинину.

Они оберегают переправу.

А река-то какая широкая! Во всей Суоми нет таких широких рек, а в России эта река даже и не славится своей шириной.

— Теперь мне совсем ясно одно, — говорит комиссар, прибывший с третьей партией вагонов.

— А что именно, товарищ комиссар?

— Мы должны возвратиться гораздо скорее, чтобы успеть проскочить до ледохода.

Да, если вскрыется река, мы рискуем застрять здесь на нескончаемые времена или пойти в обход через Челябинск.

А товарищи на фронте будут без хлеба.

Скорее! Скорее! Но через лед надо медленно вести вагоны — иначе он может треснуть.

## IX.

Еще прошли сутки. Вот мы и миновали Иртыш.

Высокие кресты омских колоколен далеко видны... Деревянный город тянется вдоль по реке.

Черный, голый березняк кладбищ и роц встречает нас. Бесконечная путаница путей — маневровых, подъездных, запасных.

Гудки, свистки, рожки.

Поезда маневрируют, проходят на всех путях взад и вперед, и только настоящий железнодорожник может разобраться во всем этом смятении.

На путях я замечаю эшелон с военными, такими же молодцеватыми и хорошо одетыми, как и те, которых мы встречали позавчера.

Вот и Омск!

Мы гурьбой вываливаемся с вокзала, оставив только дежурную охрану.

Кто идет на базар, кто просто пошататься по городу. И среди гуляющих, конечно, Ваня Заливин. Он ищет парикмахерскую.

А их у привокзальной площади целых три.

— Дяденька, как у вас там наверху? Все тихо?... Дяденька, поймай воробышка! — увиваются за длинным Лейно ребяташки.

Но он, не понимая, о чем они тараторят, идет неприступно-важно. И даже смеется над Вирта:

— В парикмахерскую-то не зайдешь? Лысеешь?...

— Что плетешь, — флегматично отвечает Вирта, — это даже к лучшему: бог лица прибавляет.

— Это Омск? — шутя спрашивает Ваня милиционера, стоящего на перекрестке.

— Нет, — отвечает тот совершенно серьезно, — это еще не Омск, а Атамановский хутор. Омск дальше будет.

Ваня в полном недоумении переспрашивает милиционера, но тот упорствует.

— Поворачивай обратно, — растерянно говорит Ваня, — поворачивай обратно — раньше остановки слезли.

Но комиссар непреклонен:

— По твоему же справочнику, Заливин, здесь может быть только Омск — другой станции нет.

И все-таки он колеблется, наш комиссар.

Возможно, что и в справочник вкралась опечатка?

— До самого Омска-города тут еще с полверсты шагать надо, — упорствует милиционер. — Здесь Атамановский хутор, а там, на берегу Оми, — и он показал рукой, где именно, — Волчий хвост и Нахаловск... А в город, к центру, еще с полверсты. Вот!...

Нет, все-таки вышло так, что мы оставили свой поезд там, где положено.

Ребята вошли в парикмахерскую, чтобы, побрившись, отправить на гулянье.

Мы с комиссаром остались вдвоем. Он, перед тем как уйти с поезда, чисто выбрился, выбил пыль из одежды.

И вот мы идем по незнакомым зимним улицам большого сибирского города, который, несмотря на каменные дома на главной улице, очень напоминает мне деревню.

А ведь жителей в нем вдвое больше, чем в Виипури. Нас догоняет Айрола.

Ему любопытно, как комиссар будет добывать хлеб.

В кожаной сумке, которую комиссар несет на ремне через плечо, несколько толстенных пачек керенок. Я затрудняюсь сказать, на сколько рублей, но если принять во внимание, что каждая керенка (сорок рублей) напечатана на бумажке, равной половине пятимарковой кредитки, и если я скажу тебе, что бумажек больше пяти фунтов, ты поймешь, что комиссар захватил с собой порядочную сумму.

По дороге в Совет нам пришлось пройти через базар. Здесь продавали поджаренное мясо, пирожки, пельмени, которые приготавливались на глазах покупателя; на рынке был хлеб — он продавался не из-под полы.

Я обязательно задержался бы на этом базаре, на котором к тому же весело играли гармонисты, но комиссар не дал мне задерживаться:

— Идем, идем!

— Газета! Последние новости! Газета! — завопил мальчишка, вынырнув неожиданно из-за угла.

Я, сгорая от желания узнать, что творится в Суоми — где фронт? захвачен ли нами уже север? — купил листок у газетчика.

— Что такое Ермак? — спросил меня комиссар.

Газетка называлась «Ермак» — «орган свободной народной мысли».

Нет, я решительно не знаю, что означает слово «Ермак». И мне пришлось, краснея, сознаться комиссару, что я совсем уж не такой хороший переводчик, каким он считает меня.

Так, разговаривая, дошли мы до здания Совета.

Народ входил и выходил из помещения. В вестибюле спали вповалку люди; винтовки были составлены в козлы.

Суетясь и хлопая дверьми, выбегали солидные люди, юноши с портфелями и парни в кожаных куртках шоферов.

— Куда? — остановил нас, преградив путь, красногвардеец.

Навстречу нам быстро прошел офицер-чехословак.

— К председателю исполнительного комитета.

— Подождите, там заседание президиума.

— Вот это-то и хорошо — сразу весь президиум! — обрадовался комиссар.

Но красногвардеец был неумолим.

Я вырвал из своего блокнота листок и написал: «Делегация финского пролетариата просит немедленно принять» — и, сунув бумажку проходившему мимо нас человеку с пропуском, попросил передать ее председателю.

В ожидании ответа мы с комиссаром стали разглядывать газетку, под загадочным названием «Ермак».

Нет, к сожалению, здесь не было ни одного слова о Финляндии; нет, мы не нашли ни одной строки даже нонпарели о нашей революции.

Правда, была телеграмма, в которой сообщалось: «Большевистское правительство, опасаясь немцев, которые недовольны своими агентами, бежит из Петрограда в Москву». И телеграмма о том, что Соединенные Штаты согласны с союзными правительствами в том, что нельзя признавать правительства, не утвержденного учредительным собранием.

Был большой отдел «Разруха». Этого слова я тоже не мог перевести на финский, потому что не понимал сам.

— Да это такая же рвань, как наша «Саномат»! — плюнул комиссар и возмутился: — И почему русские товарищи разрешают выпускать такие провокаторские листки?

В отделе «Местная жизнь» я набрел на заметку, которая мне очень не понравилась.

«Голод в Сибири... Наш край — житница России — переживает неслыханный в нашей истории голод... Особенно голодают в городах, где население оторвано от земли... Никакими мерами не убедишь крестьян продавать хлеб за деньги, ценность которых неопределенная и на которые почти ничего купить нельзя... Если бы не германские пленные, размещенные батраками по деревням, — на предстоящий сев рассчитывать

тоже никак нельзя было бы... Тем более что кормильцы, взятые в армию — несмотря на то что большевики декларировали мир, — еще не вернулись, и неизвестно, вернутся ли домой. Почта ведь почти бездействует... В какое страшное время живем мы!!!»

Таким возгласом, подтвержденным тремя восклицательными знаками, кончалась эта заметка, нагнавшая на меня уныние; я перевел ее Айрола.

Он покачал своей рыжей головой и укоризненно сказал:

— Я ведь говорил, что в такое время на чужой хлеб особенно рассчитывать не приходится!...

В эту минуту нас позвали на заседание президиума исполкома. Мы пошли по темному коридору.

У дверей комнаты, на стульях, сидели красногвардейцы с винтовками в руках.

Гранаты висели на их поясах; на груди перекрещивались пулеметные ленты. И, как две ручные собаки, молча стояли у их ног, по обе стороны дверей, пулеметы.

Мы вошли в комнату.

В этой комнате было трудно дышать — так было в ней накурено.

Воздух от табачного дыма казался синевато-серым.

Вокруг стола, за которым сидел председатель, заседало человек одиннадцать членов исполкома.

Заседание явно было чрезвычайным и тревожным.

— В чем дело, товарищи? Предъявите ваши мандаты, — не дав произнести ни слова, обратился к нам председатель.

Комиссар молча вытащил бумаги и расстелил их на столе перед председателем.

Тот так же молча изучил их.

— Да, — наконец сказал он, — подпись товарища Ленина на этом деле имеется... Предлагаю, товарищи, приветствовать представителей мировой революции, революции финских пролетариев. — С этими словами он стал и протянул комиссару руку.

Все зааплодировали и тоже встали со своих мест.

Какой-то веселый парень тряс руку Айрола. Тот был заметно смущен.

Председатель предоставил слово Карвонену, и комиссар рассказал о цели нашей поездки.

И тогда на минуту в комнате воцарилась тишина.

— Сколько у нас хлеба, товарищ Петров, исключая, конечно, красногвардейские запасы?

— Немного.

И снова молчание.

— На поезд целый наскребем?

— Из элеватора — нет. На двадцать вагонов — максимум.

— Наши вагоны не такие большегрузные, как русские, — попытался успокоить Петрова комиссар.

— От силы двадцать, — уныло повторил Петров. — Правда, к завтрашнему дню мы ожидаем обоз — обоз с конфискованным хлебом, но ты ведь знаешь, что прибывающий хлеб с неделю назад расписан по организациям и учреждениям.

— Все равно надо дать, — сказал председатель. — Подумайте только, на что этот хлеб идет!... Интересы пролетарской революции у нас на первом плане!...

— Да, но поймут ли наши сибирские голодные рабочие смысл вашего распоряжения? Финская революция далеко, а собственные животы близко. Сумеет ли крестьянство, у которого конфискован хлеб для омских пролетариев, осмыслить такую передачу? — сказал человек с подстриженной клинышком бородкой, в белом воротничке с галстуком, сбитым на сторону.

Если бы не это последнее обстоятельство, он очень был бы похож на наших профсоюзных работников и на Айрола.

И тогда молодой парень, который так горячо тряс руку Айрола, вскипел:

— Я так и знал, что представители «социалистических» патриотических фракции будут протестовать против любого акта международной солидарности! В то время, когда великие вожди научного социализма...

Председатель резко встал со своего места и, притушив папироску о край пепельницы, прервал парня:

— Как и всегда, меньшевики клеветают на русских рабочих! Наши рабочие великолепно поймут и поддержат то, что идет на пользу революции трудящихся. Вспомните забастовки солидарности, вплоть до всеобщей! Вспомните расстреливаемые на площадях демонстрации протеста! Да на каждой странице нашего движения вы найдете сколько угодно примеров. Наши рабочие, совершившие великий переворот, не поймут нас, если мы оттолкнем руку пролетариев, протянутую к нам за помощью, и наши рабочие никогда не простят нам отказа. Господа меньшевики свое нежелание хотят выдать за непонимание рабочего класса. Их номер и на этот раз не пройдет. Хлеб для братской революции мы дадим... Голосую.

— Девять рук — «за»!

Меньшевик голосовал «против», один воздержался.

— Что это ты делаешь? — удивился председателю действиям Карвонен.

Тот, отстегнув свою сумку, торжественно положил ее на стол перед председателем:

— Это деньги за хлеб, за хлеб, который вы нам дадите.

— Эх, — вздохнул Петров, — хлеб-то дороже нам всяких денег! Возьми обратно свои деньги, товарищ!

Председатель снова пожал руку комиссару Карвонену, потом пожал руку мне и Айрола.

И так мы дружески стали пожимать руки всем товарищам... за исключением, конечно, того, кто голосовал «против».

Этот человек сразу же после голосования вышел куда-то из комнаты...

— Оставь деньги при себе, прикупишь на них хлеба на базаре или в окрестных деревнях. Петров оформит вам все дело.

Мы пошли к выходу в сопровождении Петрова.

— Видите ли, дорогие товарищи, — сказал Петров, собственноручно выписывая нам требование на зерно и приказ о выдаче, — на весь состав хлеба у нас не хватит, придется вам закупить в окрестных деревнях. Так вот, мне кажется, что вам легче было бы сговориться со своим финнами. В нашем уезде, недалеко от Омска, есть чуть ли не целая финская волость. Богатейшие деревни. Обратитесь к ним.

Да, я еще с детства помню разговоры об этих сибирских деревнях, куда царь ссылал воров, святотатцев, убийц и других преступников.

Говорил потом, что они и их потомство в Сибири недурно устроились. Но кто мог у нас в Суоми поверить, что в холодной Сибири можно неплохо устроиться?

— Слыхивал про эти селения, — сказал комиссар, — но полагал, что в них сплошная нищета.

— Вот что, товарищи, — решил вдруг Петров, — надо вам на всякий случай дать охрану из наших красногвардейцев. — И он стал вызывать по телефону штаб Красной гвардии и социалистической Красной Армии.

Телефон работал прескверно, но все-таки через полчаса дежурный доложил, что двенадцать красногвардейцев подошли к зданию Совета и ждут дальнейших распоряжений товарища Петрова.

Тогда Петров еще раз перерешил:

— Я пойду вместе с вами, ребята, и красногвардейцев тоже захватим, чтобы все сошло совсем гладко. И так хватает неприятностей.

Мы вышли все на морозную улицу сибирского города Омска.

Красногвардейцы шли рядом с нами врассыпную, не соблюдая строя.

— Ну что, Айрола? — решил я посмеяться над своим машинистом-скептиком. — Ну что, Айрола, мало денег мы с собой захватили?

Но Айрола не ответил. Он шел всю обратную дорогу молча, о чем-то сосредоточенно думая, и я не стал мешать ему думать. По дороге нам встретился трактир, на крыльце которого стоял наши слесари.

— Идемте, товарищи, к поезду! — приказал им комиссар.

— Там внутри есть еще ребята...

Они пошли с комиссаром, а я забежал в трактир, чтобы вызвать остальных.

Уже зажигали висячие керосиновые лампы.

За загородкой стояло разбитое пианино. Жалобно тянула мелодию скрипка, и один певец, тягуче и проникновенно, немного гнусавя, пел:

И будешь ты царицей мира...

Подруга верная моя...

И было в этом жарком, полутемном трактире, где воблу запивали пустым чаем, ужасно одиноко, и тоска подступала ко всем столикам.

— Послушай его, послушай его, ведь он слепой! — прошептал мне Ваня.

Я опущусь на дно морское,

Я полечу за облака,

Я дам тебе все, все земное...

— Это он жене своей поет, а она за пианино сидит, и тоже слепая.

Я дам тебе все, все земное...—

продолжал жаловаться слепой певец.

— Идем, Ваня!

И я вывел его за плечо из трактира.

Поезда мы на старом месте уже не нашли.

Он, маневрируя, передвигался к элеватору.

## Х.

Из элеватора зерно шло по полотняным рукавам вниз, в вагоны, которые стояли на путях, почти вплотную подходивших к самому зданию. Мы ссыпали это зерно через люки, закрыв двери вагонов. Оно текло по холщовому шлангу — золотое сибирское зерно, сытная, крупная пшеница.

Ты удивилась бы, если бы увидела, сколько голубей живет в здании элеватора! Это настоящее птичье государство. И как они смелы, эти птицы, как они злятся, когда потревожишь их! Просто удивительно, как их много.

Когда Петров предъявил сторожу все нужные пропуска и ордера, сторож, крихтя, поднялся со своего места и, жалуясь на то, что никогда так мало не было зерна на элеваторе, как сейчас, открыл нам двери.

— Время уже неприсутственное... Моего начальника нету. Дайте расписку, что насильно открыли.

Нет, Петров расписки не дал, а послал одного своего красногвардейца, чтобы тот доставил заведующего элеватором.

Заведующий пришел встревоженный и расстроенный; он было вообразил, что на элеватор произошел налет, но, увидев Петрова, успокоился:

— Все, значит, по закону...

А товарищ Петров свой вывод сделал и сообщил его нашему комиссару:

— Охраны здесь мало. Надо будет обязательно целый взвод поставить.

Когда мы увидимся, я подробно опишу тебе устройство элеватора, а сейчас побегу посмотреть, как течет по шлангам золотое рассыпчатое зерно в наши черные вагоны. Сторож разузнал, кто мы такие и куда повезем зерно, и заворчал на Петрова:

— У самих народ с голоду падает, а ты чухонцам хлеб стравляешь.

— И потом, помолчав, спросил его: — Сколько, ты думаешь, самогону выйти может с одного вагона пшеницы?

— Не знаю! — буркнул в ответ Петров.

— Вот то-то и дело, что не знаешь! — укоризненно наставлял старик.

— Айрола, Айрола, мало, говоришь, денег с собой захватили? Не дадут нам русские хлеба — у самих, говоришь, голод?

Но Айрола не отвечает.

Товарищ Петров был прав, пшеницы в элеваторе хватило только на двадцать четыре наших вагона.

— Завтра к утру ожидаем обозы, — говорит Петров. — Кое-что от них можно будет взять. Вагонов шесть. Остальное придется вам самим в деревнях организовать, что ли.

— Ну, до свиданья, товарищ Петров! До утра.

Какой отличный солнечный день! На солнышке чуть ли не тает.

Обоз рано утром, конечно, не пришел. Петров уже второй раз навещался к нам.

Сейчас он уехал на экстренное заседание исполкома. Но как только он уехал, показались первые сани длиннющего обоза.

На санях-розвальнях наложены мешки. Даже издали можно понять, что везут зерно. Впереди идут вооруженные рабочие. Около каждой саней сбоку по двое.

Рядом с обозом идет много народу со слободы. Запыхавшись, к элеватору подбегает какой-то человек и тычет заведующему бумажку:

— Я представитель национализированного завода. Из этого зерна, по разверстке комитета и Совета, нам причитается десять пятипудовых мешков.

— Ничего вы не получите, все финны заберут! — зло отвечает ему заведующий элеватором.

— Ну, это мы еще посмотрим! — вызывающе отвечает вновь прибывший. И обращается к подоспевшему за ним товарищу: — Немедленно вызови наших ребят.

А обоз все приближается — слышен скрип полозьев, ржание лошадей.

Вся картина напоминает мне приближение обоза из Кандалакши к Рованиеми, обоза с военным снаряжением. Какими далекими кажутся те дни!

И я вижу: у передних, остановившихся около ворот элеватора саней старик сторож что-то говорит сопровождающим обоз вооруженным людям и случайным прохожим.

До меня доносятся обрывки фраз:

— Наш хлеб тратить на иностранцев!

— Ерунда, дед, не может быть! — отвечает сторожу один вооруженный и проводит лошадь под уздцы во двор.

Во двор вслед за первыми санями въезжает еще пятьдесят саней — и все с мешками, плотно набитыми зерном... И двор уже полон народа.

— Для чего же мы по деревням рыскали? — спрашивает один вооруженный рабочий другого.

Тот пожимает плечами и отвечает:

— Не может этого быть!

Я посылаю Ваню Заливина немедленно вытребовать по телефону Петрова, а то может произойти недоразумение.

Во двор вливается новая большая толпа рабочих и женщин в платочках, по-видимому, их жен.

— Правда, товарищ, что все запасы в черный поезд для заграницы погрузили? — спрашивают заведующего элеватором.

— Правда, правда! — ехидно подтверждает тот.

— Пока не выясним — не сдавай хлеб!

— Вези по организациям!

— Чего уши своих детей разве нет?

— Товарищи, — говорит стоящим вблизи него вооруженным людям представитель четвертого завода, — у кого из вас списки? Мы сами сейчас явочным порядком разнарядку по учреждениям и предприятиям произведем.

У самых ворот, со всего хода, кучер осаживает лошадей. Откинув полость, из саней выскакивает человек и быстро идет к элеватору.

Его встречают гулом голосов.

Он спокойно доходит до середины двора и взбирается на сани, на мешки с зерном.

— Товарищи!... — Голос его заглушает гул.

Люди перестают шуметь и внимательно смотрят на него. Нет, это не Петров — приехал сам председатель.

— Товарищи, зачем вы сейчас все здесь, почему такое собрание?

— Хлеб забирают для заграницы!

— Буржуи иностранные пшеницы нашей захотели!

— Товарищи, вас обманули. Никаким иностранным буржуям не дадим мы нашего хлеба ни одного золотника.

— Правильно!

— Верно говоришь!

— Отнять обратно у них хлеб!

— Вчера на заседании исполкома меньшевики говорили, что омские рабочие не понимают разницы между буржуями и своими заграничными братьями — такими же рабочими, как и они сам. И я посмел от вашего имени заявить меньшевикам, что они лгут и клеветуют! Ни одного фунта хлеба западной буржуазии! Но если там трудящиеся восстанут против паразитов, и если там трудящиеся устроят революцию, чтобы

соединиться с нами, и если они будут там голодать так, что наши затруднения в сравнении с их голодом — детские игрушки, и если они, помогая нам, попросят у нас помощи, — разве мы не поможем им? Меньшевики сказали: «Рабочие этого не поймут», — и я еще раз назвал их лгунами и предателями, и от вашего имени, омские рабочие, сказал: мы поможем!

— О чем речь? Поможем...

— Я первым записываюсь добровольцем в их Красную гвардию...

— Я вижу, что не ошибся... Нет, у них есть своя крепкая гвардия, и в помощи добровольцев сейчас они не нуждаются. Финские трудящиеся устроили у себя революцию и скинули буржуазию. Они организовали Красную гвардию. И теперь их Красная гвардия дерется с белой. И финская Красная гвардия осталась без хлеба; она дерется всюду, но если белым помогает вся мировая буржуазия, то неужели же мы не поможем революционному народу! Вечный позор тогда падет на наши головы и проклятие всех сознательных рабочих мира!

И настала тишина.

Мне кажется, что я слышал, как бьется сердце моего соседа.

Молчат...

И тогда председатель сказал:

— Ну как же?

Из толпы выскочил вооруженный красногвардеец, взобрался на мешки, стал рядом с председателем и, опершись на винтовку, звонким голосом закричал:

— О чем может быть разговор! Товарищ председатель нас хорошо знает! Мы не волки в лесу — не молимся колесу, мы братьям своим должны помочь... Поможем! Я предлагаю, чтобы по справедливости — половину обоза, который мы привели, финским революционным рабочим, а другую половину оставим себе, для своих красногвардейцев, рабочих, ребятшек и жен... Правильно я говорю или нет?

И тут снова раздался гул голосов, но сейчас легко было уловить в этом гуле радостное одобрение.

— Правильно!

— Правильно! — раздались голоса. — Так и сделаем!

— Правильно! — громко сказал председатель.

— Товарищи! — Это уже говорил представитель другого завода. — Чтобы смыть обиду, которую мы нанесли финским рабочим, которых приняли за буржуазию, предлагаю помочь им. А чтобы было все ясно — с каждой саней поровну! Половину оставляем, половину несем в вагоны... Товарищи финские рабочие, вы это дело можете проверить!

— Мы вам и так верим! — громко крикнул в ответ комиссар.

И вот наши парни из поездной бригады и охраны поезда и русские рабочие, красногвардейцы, словно соревнуясь между собой в силе и быстроте работы, потащили тяжелые мешки к нашим черным вагонам, которые распахнули свои двери.

— Чем так тащить, лучше цепью! — кричал Ваня.

Но цепь ему не удалось организовать.

Каждый сам, лично, хотел дотащить мешок до черного вагона, в вагонах мешки принимались другими сильными руками, которые укладывали эти плотные мешки в ряды.

— Эй, ухнем!

— Веселей! Веселей! — раздавались то и дело окрики.

Возчики подвязали к мордам лошадей кошелки, и по всему двору шел мерный хруст пережевываемого овса.

— Не можешь поднять? — издевался один рабочий над другим, неумело подхватившим мешок. — Бери пример с меня, знаменитого крючника!

Я увидел Айрола.

Он стоял на ступеньке паровоза и изумленно глядел, как русские, сгибая под тяжестью мешков свои спины, весело, взапуски с нашими людьми, грузили свой кровный, с таким трудом добытый хлеб.

И я видел, как слеза текла по щеке Айрола и он позабыл ее смахнуть...

Мне стало неловко подглядывать за своим машинистом. И я побежал к саням за мешком:

— Спасибо! Спасибо, товарищи!

Наш поезд отходит на запасный путь. Подбрасывая уголь в топку, я услышал возглас председателя:

— Да здравствует международная солидарность трудящихся! Да здравствует революция!

И возглас этот был подхвачен и покрыт громкий «ура».

И тогда я выпрямился и посмотрел прямо в лицо — прямо в глаза своему машинисту:

— Ну как, Айрола?

И он отвечал мне немного растерянно, но с нескрываемой радостью:

— Я ошибся, я не знал русских рабочих!

## ХІ.

Так загрузили восемь вагонов. Оставалось пустых еще восемь.

— Три вагона я постараюсь закупить на вольном рынке, — сказал комиссар.

Два вагона взялся достать Ваня Заливин у местного крестьянства. И его два вагона поезд отвел на запад на тридцать верст.

Перед отъездом Ваня для чего-то забрал у нас все наличные финские марки, плутовски подмигивая и улыбаясь своим тайным мыслям.

Мне было поручено достать хлеб у финских переселенцев.

Паровоз доставил меня, троих моих красногвардейцев и три пустых вагона на какую-то глухую станцию — верст семьдесят на восток от Омска.

Затем, дав на прощание три пронзительных свистка, он ушел обратно в Омск, оставив нас совсем одних на этой незнакомой, заброшенной сибирской станции.

Если верить рассказам, в семи верстах от станции должно было находиться больше финское село, носящее имя Хельсинки, в девятнадцати верстах — другое, Або. И дальше еще несколько селений.

Я оставил двоих красногвардейцев у вагонов, а сам с Лейно нанял розвальни у случайно проезжавшего мимо станции крестьянина.

Как будто бы по заказу, последние дни были нехолодные и солнечные.

— Да, — говорил степенный возница, — ни за что не поверишь, что это воры и громилы, — зажиточно живут.

В село мы приехали засветло.

Большие, просторные бревенчатые дома, сытые собаки и по-нашему одетые люди, с трубками в зубах — вот что увидели мы, въехав по главной улице в эту просторную деревню.

— Мало у кого из них нет десяти коров, — сказал, прощаясь с нами, возница и, сохраняя на лице выражение крайнего почтения, концом вожжи подхлестнул лошадей.

В деревне было шумно, и я пошел на звуку гармоники. Около дома, в котором играла гармоника, столпилось немало людей.

Гармоника уступила место скрипке, а та стала тонко жаловаться на судьбу.

— Веселее! Веселее! — Пьяные голоса подгоняли скрипку.

— Танцевальную!

Да, разговор шел на финском языке; правда, произношение было не хельсинкское.

Я, распахнув дверь и пройдя сени, вошел в горницу.

— Откуда будешь?

— Прямо из Суоми к вам!

— Давно, давно не видели мы живого человека из настоящего Хельсинки.

Все окружили меня. Всем было интересно узнать новости с родины, даже той молодежи, которая здесь родилась и выросла.

— Как там живут?

— Вышел ли закон о безземельных?

— Правда, что сейм красный? — Они забросали меня вопросами.

Младший сын кузнеца, сосланного сюда четверть века назад за чеканку фальшивых монет — как рассказали мне после словоохотливые люди, — сегодня женится, и вот я прямо попал на его свадьбу.

На столе стояло так много прекрасных, вкусных кушаний, что я пожалел, почему нет рядом со мной тебя и Линола.

Здесь были и жареные жирные гуси, и янтарный мед, и огромные белые пироги из крупчатки, и нашпигованные зайцы, и масло, и неккилейпа, и простокваша, и длинные рыбы, названия которых я не помню, и патока. — сахара не было, — и пузатые ковши с хмельным самогоном.

Меня усадили, как почетного гостя, как вестника с родины, в красный угол — рядом с отцом невесты и отцом жениха, стариком кузнецом.

— Я, милые, сюда по делам, — сказал я старикам.

— Ладно, какие дела, снег еще ведь не сошел. Пей, ешь. После свадьбы и поговорим.

— А когда свадьба кончится? — полюбопытствовал я.

— Через три дня.

Нет, я решил сегодня же покончить с делом — ждать три дня было бы глупо.

— А правда, что у вас каждого по десяти коров? — осведомился я у стариков.

Они довольно засмеялись.

— У меня тридцать одна, — сказал один.

— У меня двадцать семь, — в тон ему заявил другой.

А так как в голосе я не уловил и тени насмешки и они не оспаривали количества голов скота друг у друга, приходилось им верить.

— А сколько у вас пашни?

— Не сравнить с Суоми, — заторопились с рассказами старики.

— Первый раз здесь я и понял, что такое земля.

— Да и сколько ее — во! — И Старик руками, чтобы показать, сколько здесь земли.

А так как он был уже навеселе и не мог хорошо рассчитать движения, то задел окорок, лежавший на блюде, и чуть-чуть не сбросил его на пол.

Над этим вдоволь посмеялись.

Потом один из присутствующих поднялся и стал говорить громко и внятно, так, как говорят не совсем трезвые люди, стремящиеся доказать всем окружающим, что у них все в порядке и что пройти по одной половине — сущий пустяк.

К нему подошли жених и невеста, которая показалась мне немного старше жениха.

И он при полном молчании собравшихся совершил над ними обряд венчания.

Это меня очень удивило, и я, чтобы не оскорблять чувств родителей новобрачных, спросил у одного молодца, что это означает.

— Это Каарло Парвиайнен, прислан сюда лет пятнадцать назад — за неисправимое воровство... отличный человек... Все службы наизусть знает. У нас на всю губернию один пастор — в Омске, — и почти никогда не застать его дома. Вот у нас его и заменяет Каарло — и венчает, и крестит, и хоронит. А два раза в год приезжает пастор и законно скрепляет гуртом все, что сделал Каарло.

Немало подивившись здешним порядкам и увидев, что многие из гостей растрогались под влиянием алкоголя настолько, что целуются друг с другом и объявляют о своей вечной дружбе, я решил, что настало самое время действовать. Я влез на лавочку и стал говорить о прекрасной нашей родине Суоми, о ее озерах и о ее свободных сынах, о ее непроходимых лесах и прекрасных девушках — слышишь, Тюне, и о прекрасных девушках! И все они поднимали свои стаканы и кричали: «Ура!»

Потом я говорил о борьбе, которую ведет наша трудовая родина с вековыми угнетателями, и о несчастье, поразившем народ, — о голоде.

Я рассказал им, как нашим голодным рабочим помогли русские рабочие в Омске, и спросил: неужели их сердца, сердца финнов, будут глухи к тому, что происходит в Суоми?

И неужели же они, самый бедный из которых богаче пятидесяти торпарей, вместе взятых, неужели они окажутся в стороне и не помогут братьям?

— Да как же это можно! — растроганно крикнула невеста.

И жених ласково взглянул на нее, радуясь такой сердечности своей любезной.

— Конечно, дадим! — сказал один из стариков.

— Дадим, а ты выпей здоровье и долголетие новобрачных!

Я проглотил залпом стакан крепкого самогона, и у меня зашумело в голове. Ноги перестали держать меня, и я, стараясь не свалиться под стол, уселся на скамейке.

Какие-то фигуры кружились передо мной, и голоса их сливались в неразличимый гул, из которого время от времени я вылавливал отдельные громкие фразы:

— Три вагона — это пустяки! Наберем!

— Двести пудов сразу дам, если один из прибывших положит меня на обе лопатки! — гордо сказал жених, выступив на середину избы.

И все кругом восторженно зааплодировали и закричали. Он был таким парнем, каким и полагается быть сыну деревенского кузнеца.

Двести пудов прельстили меня. Я встал со скамьи, но легкое прикосновение соседа заставило меня покачнуться. Нет, из-за лишнего стакана самогона эти двести пудов пошли прахом.

И я вижу, что мой красногвардеец Лейно, длинный Лейно, выступает вперед, как цапля, и принимает вызов молодо-жена. И завязывается борьба.

Гости обступают борющихся. Затаив дыхание, исходя потом, наблюдают они это неожиданное единоборство.

Нет, Лейно может взять первенство в лыжном пробеге, но французская борьба — блюдо не для него. И как он ни извивается, а все-таки ложится на обе лопатки.

И все хохочут и снова бьют в ладоши.

И лавка подо мной кружится и хочет куда-то улететь.

— Надо закусить жирным.

Я хочу взять со стола кусок шпика, но рука хватает ломоть белого хлеба.

И тогда я вижу: молодая вскакивает на лавку и звонко кричит:

— Мой муж давал двести пудов, если кто его победит, а я даю триста за то, что победил он!

И все снова кричат: «Ура!» — и бьют в ладоши.

— Моя кровь, моя кровь! — гордо кричит отец молодой и начинает меня выспрашивать о здоровье своих дальних родственников в Финляндии, о которых я не имею ни малейшего понятия.

И снова комната идет кругом.

И тогда один из гостей встает из-за стола, выбегает на середину комнаты и рычит:

— Если Айно дала триста пудов, то неужели же я отстану!

И он рвет одну пуговицу со своего жилета и швыряет ее на пол. Словно громкий вздох проносится по избе. И тогда он рвет другую, и третью, и четвертую пуговицы жилета и швыряет их, одну за другой, на пол.

Старуха ползает по полу на четвереньках, подбирая пуговицы; потом она распарывает материю и вытаскивает из каждой блестящую золотую монету.

— Вот молодец! — шепчет мне восторженно на ухо отец жениха. — Он обокрал три собора, три собора! И тогда его прислали сюда. Это человек!

Я просыпаюсь уже воздухе. Очень болит голова... Я открываю глаза и вижу, что лежу на мешках с зерном; впереди и позади идут еще сани, и командует обозом длинный Лейно.

И тогда я понимаю, что все, за исключением меня, в порядке, и снова засыпаю.

Второй раз я просыпаюсь от пронзительных гудков и сильного толчка... Потом Айрола трясет мне руку и говорит:

— На паровоз!

И я просыпаюсь окончательно.

— Все в порядке, товарищ начальник, — по-военному докладывает мне Лейно, — все вагоны загружены!

Я иду на паровоз. Новый свисток — и паровоз тащит вверенные мне три вагона к Омску. И мне тогда делается отчаянно стыдно за свое непробудное пьянство и как-то совестно спросить у Туомио, который сейчас занят шуровкой, какое сегодня число. Итак, в полном неведении, сколько же дней мы прокутили, сижу я на своем паровозе.

Как ловко работает Туомио! Глядя на него, ни за что не скажешь, что работа тяжелая.

А ведь он гораздо слабее меня.

— Твой приятель Ваня Заливин, — говорит мне Туомио, забросив очередную порцию угля, — натворил неподобное. Комиссар вlepил ему выговор. Ты только подумай: он закупил хлеб у здешних кулаков на наши финские марки, уверив их, что это лучшие американские деньги. Он оправдывался перед комиссаром тем, что обманул только кулаков и никак не опозорил поезд.

Айрола тоже возмущено пожимает плечами. Но уже я не слышу от него обычных слов об отсталости России.

— А комиссар-то хлеб добыл на рынке?

— Не полный комплект, но добыл.

Снова составлен наш поезд, и снова паровоз стоит под парами.

В дежурке чешский офицер спорит с дежурным.

Дежурный говорит:

— Путь свободен, и у нас есть распоряжение выпустить финский поезд немедленно.

— Да, но ведь в Финляндии революция! — недоумевает офицер.

— Именно поэтому, — отвечает дежурный и вручает жезл нашему машинисту.

Прощай, Омск!

Колеса стучат уже по мосту. Внизу Иртыш.

— Скоро вскрыется, — говорит комиссар.

## ХII.

Мы простучали по небольшому деревянному мостику.

Лед на речке был совсем темный. Вблизи от моста чернела полынья.

— Дружная будет весна! — И Туомио сбросил фуражку.

Даже без фуражки голове не было холодно. Ветер с запада, ветер с родины трепал пряди его волос... Тюне!

На одной из станций подошел к нам вооруженный человек и потребовал провести его к комиссару.

Он сказал комиссару:

— Мы красный рабочий отряд. У нас есть сведения, что в Тюмени офицерье готовит контрреволюционный переворот. Мы спешим на помощь — сто четырнадцать штыков, — но у нас нет паровоза. Мы знаем, что ты едешь по заданию центра и у тебя есть записка от Ленина, но пойми, что нам тоже необходимо захватить врага врасплох.

— Ладно, — ответил комиссар. — Я понимаю.

Он рассказал нам о просьбе красногвардейцев.

— И ты обещал подумать? — изумился Мальме. — Почему ты сразу же не сказал, что паровоз приписан к нашему поезду и никуда мы его отпускать не можем?

— А почему я должен был так сказать?

— Вдобавок мы торопимся доставить хлеб в Хельсинки, — поддержал Мальме Хурмеринта.

— Ну да! — обрадовался Мальме. — И потом это — внутреннее дело и отдали нам свой хлеб. Нет, я думаю, что мы обязаны помочь красногвардейцам.

Тогда я вмешался в разговор:

— Товарищ комиссар, я тоже за то, чтобы помочь русским товарищам в их деле, но посмотрите, какая кругом весенняя погода.

— Ну?

— Так ведь таком солнце ледоход каждый день может начаться. Мост взорван. Путь по льду не вечен.

Комиссар задумался.

Мальме недоуменно пожимал плечами:

— К чему ввязываться в русские дела?

Комиссар встал и сказал:

— Все в порядке. Мы сначала переправим весь поезд на тот берег — хлебом рисковать нельзя, — а потом подвезем партизан до Тюмени. Паровозом рискнуть можно.

Русских товарищей решение комиссара совершенно устраивало.

Я взял лопату. Была моя смена стоять у топки. Мы гнали всюю.

Айрола снизошел и сказал, что я способный ученик и скоро стану хорошим кочегаром.

К вечеру поезд наш дошел до знакомой уже реки. Рельсы по-прежнему лежали на льду. Но лед был темный, кое-где в лужах отражались звезды.

И хотя кончилась моя смена, я пошел с комиссаром в разведку по шпалам. Пришлось в темноте перепрыгивать со шпалы на шпалу. Путь в порядке.

Мы вышли на другой берег и к кострам. У костров было много людей. Несколько поездов стояло у переезда. Никто не решался переводить свои вагоны по такому неверному льду, все с нетерпением ждали ледохода.

— Тогда на пароме дело сорганизуем!

Внизу у первого быка стояла большая баржа. Она здесь зимовала во льду. Саперы положили на ее палубу рельсы, укрепили их и снизу подперли палубу особыми стойками. Обо всем этом рассказывал с увлечением старик — смотритель моста.

— Ты откулешный, дед? — спросил его кто-то.

— Да железнодорожный я, родился на восемьдесят седьмом разъезде.

— Эх, может быть, есть у кого граната — взорвать бы лед, чтобы хоть большое разводье вышло... — вслух стал мечтать машинист встречного поезда.

И вдруг мы услышали гудок нашего паровоза.

Все у костра повскакали с места.

Да, наш паровоз медленно шел по ледяному пути, таща за собой один груженный товарный вагон.

Мы не выдержали — побежали ему навстречу; за нами увязались и другие.

— Потонет, обязательно провалится! — испуганно говорил старик смотритель, но и он не выдержал и заковылял к нашему паровозу.

Туомио высунулся из паровоза и, узнав меня в темноте, помахал рукой; а я бежал рядом с паровозом по талому льду, попадая ногами в лужи, в какие только можно было попасть. Я бежал рядом и заглядывал под колеса и видел, как дрожат и уступают тяжести рельсы, и все во мне замирало.

Треснет лед или нет?

И когда паровоз наш смело выкатил вагон на берег, я видел, как старик смотритель скинул шапку и стал, крестясь, приговаривать:

— Спасибо тебе, господи! Благодарим тебя, создатель!

И никто не смеялся над стариком.

— Неужели он пойдет еще раз? — изумляясь, спросил меня какой-то человек у костра.

— Не знаю.

Но паровоз наш пошел во второй раз, он привел и третью, и четвертую, и пятую теплушки.

Он работал всю ночь. И всю ночь у костров, когда вдруг трещал сучок, все встревоженно начинали вслушиваться, не лед ли то трещит. Никто из нас ни на секунду не сомкнул глаз в эту страшную ночь.

Но вот уже встает над рекой рассвет, и снова становится очень холодно.

Наш паровоз истратил много угля.

Сорок три переезда через реку — туда и обратно. Мы с Айрола превратились в попрошайки: пошли по машинистам поездов, скопившихся у перевоза, и каждый дал нам по десяти ведер хорошего угля.

Пополнив таким образом своим топливные запасы, наш паровоз снова перешел реку, чтобы повести с первой станции три теплушки с русскими красногвардейцами в Тюмень.

Мы целые сутки ждали нашего паровоза.

Он не возвращался. Лед стал еще чернее, луж стало больше, и около берега, правда, в полумверсте от пути, появилось разводье.

Мы проглядели все глаза, но не увидели ни одного паровозного дымка. И тогда комиссар сказал машинисту встречного поезда:

— Чем так ожидать у моря погоды, лучше отвел бы наш поезд на три перегона. Плата законными деньгами, керенками!

За керенки машинист не соглашался вести.

Тогда к нему подошел Ваня и сказал:

— Я даю два пуда муки. Идет?

Машинист согласился взять в придачу к бумажкам муку.

— Откуда у тебя, Иван, мука? — любопытствовал я.

— Ах да, ты к своим финнам ездил и не знаешь — мы попросили у комиссара в Омске разрешения для своих домашних закупить продуктов за свой счет. Ну, умный человек, конечно, разрешил, но, говорит, не больше, чем по три пуда. Мы и наволокли.

И Ваня помолчал.

— У меня семьи нет, у машиниста есть. Мы и сговорились. И нам выгода, и ему.

Так Ваня отдал свой хлеб, и поезд наш снова тронулся в путь — обратный путь на родину.

Мы везем хлеб голодным товарищам!

Как же нам не радоваться, дорогая моя Тюне! Как не радоваться мне, что я скоро увижу тебя!...

### ХIII.

Так, меня чужие паровозы, мы дошли почти до Екатеринбурга. Но в пяти километрах от города, на полустанке, нас задержало категорическое предписание: ни одного поезда, ни одного паровоза, ни одного вагона на Екатеринбург не пропускать.

Все наши уговоры и доводы были бесполезны.

На полустанке находился красногвардейский отряд, для которого распоряжения Совета были законом.

Тщетно пытался комиссар сговориться с Екатеринбургом по телефону. Телефон бездействовал.

И было неизвестно, на сколько времени эта непредвиденная задержка.

Комиссар решил послать меня пешком в Екатеринбург — узнать причины задержки.

У меня немного болело горло и было сухо во рту. Но я не сказал об этом комиссару; перекинув через плечо винтовку, взял нужные бумаги и по шпалам зашагал к Екатеринбург.

Вокруг было так светло от солнечного тяжелой, ноги подкашивались, и через каждые сто метров хотелось отдыхать.

Никакого движения на путях не было.

Так через три часа я дошел до самой станции. Я не знал, в каком здании мне следует разыскивать дежурного диспетчера. И хотя у меня очень болела голова, я все же удивлялся тому, как мало народу находится на путях. И почему не слышны гудки паровозов.

Но вдруг с привокзальной площади донеслась до меня громкая команда: «Смирно», и я, спотыкаясь, побежал туда узнать, в чем дело.

Площадь была оцеплена, но меня пропустили. Мой рабочий вид и винтовка за плечами были лучшим пропуском.

— Скорей, скорей иди в строй, команда была! — подбодрял меня караульный, приняв, очевидно, за одного из своих.

От самых вокзальных дверей, от выхода к середине площади, стояли две шеренги — рабочие с винтовками за плечами. Красная гвардия.

Шеренги были повернуты лицом друг к другу и стояли на расстоянии полутора шагов одна от другой, образуя длинный узкий коридор.

Моя унылая фигура посередине площади была слишком заметна, и младший командир крикнул, чтобы я становился в строй. И я стал последним на левом фланге.

Так прошла длинная минута ожидания, пока из города на вокзальную площадь не выехали три неказистых на вид, потрепанных автомобиля.

Они остановились у конца нашего живого коридора один за другим.

В каждом сидело по два хорошо вооруженных человека.

Один автомобиль стоял в двух шагах от меня.

И тогда снова раздалась команда: «Смирно!»

Раскрылась вокзальная дверь, и из нее вышли три человека с маузерами в руках.

Они медленно пошли по коридору, и вслед за ними вышел и пошел робкий человек среднего роста. Он был совсем безоружен и, шагая вдоль шеренги, старательно смотрел себе под ноги. Тщедушное и жалкое существо среди вооруженных конвоиров.

Вслед за этим человеком шел другой с револьвером в руке, за ним — высокая немолодая дама, и рядом с ней большой мальчик.

О, эти лица мне были слишком хорошо знакомы! Я видел их та тысячах фотографий и во всех иллюстрированных журналах. Потом пошли императорские дочери.

Да, императорские, потому что, дорогая моя Тюне, это проводили под конвоем по нашему живому коридору бывшего самодержца — императора всероссийского Николая II, Кровавого.

Я стоял в трех шагах от него, когда он при гробовом молчании сел в автомобиль.

Александра с Алексеем сели в тот же автомобиль.

Эх, слишком уж нянчатся русские со своим бывшим императором! Расстрелять бы его, и крышка!

Шоферы стали заводить моторы.

У третьей машины рукоять долго проворачивалась на холостом ходу, пока наконец не заработал как следует мотор.

Автомобильные рожки — первый, второй, третий, — и «августейшее» семейство под конвоем отбывает в свои новые апартаменты. Красногвардейцы перестраиваются и быстрым шагом уходят с площади.

Они идут в ту же сторону, куда умчались автомобили.

Я остаюсь на площади. У меня болит голова, подкашиваются ноги. Я не могу по-настоящему радоваться, что видел Николая II арестованным.

Или, может быть, все это мне привиделось в каком-то бреду?

Но уже грузят на телеги пожитки царской семьи. И уходят эти телеги тоже под конвоем красногвардейцев.

Площадь наполняется откуда-то появившимся народом, я разыскиваю дежурного по станции и, опускаясь в дежурке на лавочку, спрашиваю его: почему он держит наш поезд и когда пропустит его?

Дежурный с удивлением смотрит на меня: винтовка сползла с плеча, и нет силы поправить ее, и сам я слышу свой голос каким-то приглушенным и слабым, как будто идет он издалека. Дежурный говорит по телефону:

— Пропустить финский поезд.

Голова моя склоняется к коленям.

Меня приводят в себя шум, грохот подлетевшего к перрону поезда. Я встаю, как в окне мелькнули черные вагоны нашего поезда. И ведет их... Неужели я не ошибся? Как хорошо! Да, я не ошибся! Привел их наш паровоз.

Вот Туомио соскакивает с паровоза и идет по платформе.

Он видит меня, всплескивает руками и радостно бежит навстречу. Я бормочу в ответ какие-то слова. Но Туомио берет меня под руку и ведет, вернее, тащит к классному вагону.

И вот я лежу на полке в купе, и Ваня Заливин стаскивает с меня ботинки. Ханна стоит в дверях и держит в руках термометр. Пока я измеряю температуру, купе наполняется товарищами.

И Ваня, чтобы развлечь меня, говорит:

— Ты видел Александру Федоровну, а я Александра Федоровича. Ну да, Керенского. Дело было так... Гостил в Петрограде у него в гостях, на потеху мировой буржуазии, министр французский — тоже социалист — Альбер Тома. Обработывал кое-кого. Настало ему времечко восвояси двигаться. Ну, ясно, поезд на Финляндский вокзал подали — и все в порядке, путь через Швецию! Но тут, на его беду, случились мы с приятелем как раз на перроне — из депо мы, не помню почему, решили через вокзал прогуляться. Вот эти министры целуются, милуются, речи свои произносят. Эх, была не была, думаю, где наша не пропадала! Прямо противно на них смотреть. Вложил я два в рот — ну и засвистал. А под навесом свист сам знаешь как отдается. Министры встревожились, стали оглядываться по сторонам, какая причина такого явления. Ну, тут мои приятели тоже разошлись — и все свистать, как соловьи, пошли на все двенадцать колен, а кто-то даже закричал:

— Долой десять министров-капиталистов!

Ну, французский меньшевик сразу под наш свист и заскочил к себе в вагон. И хоть до отхода поезда больше десяти минут осталось, больше не показывался. А Керенский, Александр Федорович, плечами этак

нервно пожал к выходу, а за ним его адъютант, как курица, семенит. Смешно, право! Вот, Эйно, и все мое участие в исторических моментах. Я думаю, комиссар тоже в исторических переделках побывал? Расскажи нам, товарищ комиссар!

Конечно, комиссар бывал в разных переделках. И, откликаясь на вызов Вани, он рассказал про одну:

— Когда Шауман генерал-губернатора Бобрикова застрелил, я уже работал на железной дороге. Тело обратно в Петербург затребовали. Мы, железнодорожники, нарочно для трупа вагон семь тысяч семьсот семьдесят семь подобрали. Со всех четырех сторон на вагоне семерки стоят, как косы. И все железнодорожники на всех станциях смысл этой цифры поняли. Означала она, что как скосили мы Бобрикова, так подкосим всякого, кто над нами будет издеваться. А когда новый царский губернатор приехал, условились мы его карету-ландо задержать, а вместо кареты к вокзалу ему катафалк подали. Вот какие мы штуки в молодости проделывали!... Ну, а ты, Мальме, участвовал в исторических событиях?

Спокойный Мальме утвердительно качнул головой.

— Расскажи.

— Я был старшим кондуктором на том поезде, на котором товарищ Ленин из-за границы приехал.

— Ого! Ну, расскажи подробности про товарища Ленина!

— Ну, какие подробности! Ничего необыкновенного.

Больше из Мальме не удалось выудить ни слова. В купе оставалось еще двое мужчин: кочегар и Туомио. И, разумеется, они тоже должны были рассказать об исторических случаях.

Кочегар сказал:

— И у меня тоже есть история. Я только перед самым отъездом в этот маршрут узнал, что принимал самое деятельное участие в переброске товарища Ленина в Суоми в прошлом году, когда он от ищеек Керенского скрывался. Ялава, машинист мой, как-то говорит мне: «Сегодня я без тебя пойду». Ну, а мне лучше. Жалованье идет. Работать не надо. Одну смену пропустить можно. Ну и напился я в этот день с друзьями. А потом оказалось, что на моем паровозе, на моем месте, товарищ Ленин в Суоми как кочегар проехал.

— Да, выходит, что и ты вполне историческая личность, если говоришь правду, если не заливаешь, — усмехнулся Туомио. — Нет, я ни в каких случаях не принимал участия, и рассказывать мне сегодня не о чем...

— Да, — перебил я его, — но как же паровоз твой догнал нас? Я об этом еще не знаю.

Больше говорить я не мог. Меня лихорадило. Зуб на зуб не попадал.

— Ничего особенного. Пришли мы к берегу часа через два после того, как вы уехали. По такому льду нечего было уж и думать перевозить паровоз. Двое суток ждали вскрытия реки. Там саперы динамитом воспользовались, весне помогли. Ну, лед и разломало. Сколько рыбы глуше-ной наверх всплыло! Мы полное ведро набрали. Ну, на первом пароме, на барже, и перегнали паровоз на левый берег. Правда, очень трудно было на рельсы ставить, но, во-первых, помогли с других поездов, а во-вторых, сам знаешь, у нас ведь «лягушки» с собой захвачены были как раз для таких случаев...

Он продолжал еще говорить о чем-то, но у меня поплыли круги перед глазами, и я ничего уже не слышал.

— Да у него жар! Сорок градусов! — восклицает Ханна и склоняется надо мной.

Прядь волос ее щекочет мне щеку...

— Тюне, — говорю я ей, — я не знаю никаких исторических случаев. Сенаторы бежали на север!

— Я не Тюне, а Ханна, милый. Выпей водицы.

Колеса стучат настойчиво и упорно, как молот кузнеца, и кажется, что бьют они у самого уха.

Какие-то тошнотворные запахи доходят из коридора вагона. И трудно разлепить веки.

Снова сны тяжелые, которые забываются, как только откроешь глаза или повернешься на другой бок.

— Пополощи горло.

Это говорит Ханна.

Снова колеса стучат. По коридору, стуча сапогами, проходит комиссар.

— Чехословаки восстали! Кому поверили? Против кого оружие подняли?

И снова рессоры трясут. Душно. Хочется пить.

Болит горло.

Так болел я несколько дней ангиной.

Меня заменили у топки. Поезд наш шел безостановочно.

Первый раз вышел я из вагона на перрон на станции Верещагино, снова наши слесари приспособливали топку под дрова.

Спасибо Ханне: она так ухаживала за мной во время болезни!

Я еще очень слаб.

Но мир широк и прекрасен, и скоро увижу тебя, дорогая моя девочка!

## XIV.

Когда начальник станции раздраженно говорит, что у него нет для нашего паровоза дров, я с ним много не спорю.

Я вызываю своих красногвардейцев на перрон, строю их в одну шеренгу и громко приказываю:

— Взять начальника станции с собой в холодный вагон! Мы вас отвезем, — говорю ему, — до той станции, где нам дадут дрова.

И оказалось, что дрова на станции есть.

Перепуганный начальник привел нас в большой сарай, где было навалено сажен тридцать сухих березовых дров.

Он вздохнул:

Это мои личные дрова, но, ничего не поделаешь, берите их.

Дрова были явно краденые. Для трех комнатенок его квартиры за глаза хватило бы и четверти.

Мы взяли, сколько нужно было на перегон.

Разве можно медлить хотя одну лишнюю минуту, когда уже недалеко Суоми! Трудовая Суоми, которая так ждет хлеба!

Мы сидели с Туомио на ступеньках площадки. Перед нами раскрывалась огромная лесная Россия, но нам уже не было холодно, как раньше. Мы ощущали каждым вздохом идущую нам навстречу весну. Мы видели черные пятна земли, с которой уже сошел снег. Мы слышали неумолчное воркование холодных ручьев и громкие крики черных галок.

Большая Россия опять шла перед нами. Но скоро мы займем свои места в отрядах нашей Красной гвардии, и если противник еще не добит, мы поможем добить его. Как жалко, что здесь не найти петроградских газет, а из местных ничего не знаешь.

...В Череповце начальник станции вежливо заявил нам, что он уже все знает про наш поезд и что местные власти предложили ему задержать наш состав, не пропускать его дальше.

— Да, но наша путевка на Хельсинки.

— Ничего не знаю.

И он тычет мне под нос бумажку, в которой действительно предлагается не пропускать нас дальше.

— Идем, Эйно, в Совет! — приказывает мне комиссар.

И мы уходим со станции, и сердца наши останавливаются, а кулаки сжимаются, когда мы видим, как наш поезд незнакомые люди перегоняют на запасные пути. Неужели опять задержка!

— Что бы могло означать такое распоряжение? — спрашиваю я комиссара.

Но он знает не больше меня и поэтому не отвечает.

Нас не сразу пропускают к председателю исполкома, но комиссар дает ломоть хлеба швейцару, уцелевшему здесь с незапамятных времен, и тот проводит нас по черной лестнице.

— Мы с финского поезда.

— Ну? — сурово спрашивает председатель.

Он очень худ и все время надрывно кашляет.

— Мы везем хлеб.

— Ну?

Снова кашель.

— Наш конечный пункт — Хельсинки.

— Ну?

— Так почему же, — взрывается наконец комиссар, — зная это, вы задерживаете нас?...

— Потому что, — и председатель встает с места, — потому что я не хочу отправлять хлеб немцам, кайзеру. Ясно?

— Так какой же кайзер! — все больше раздражается Карвонен. — Мы везем хлеб Совету народных уполномоченных.

Тогда председатель, ни слова не говоря, протягивает комиссару «Красную газету». И тычет пальцем в телеграмму.

— Нет, этого не может быть!

Карвонен стоит, как каменное изваяние.

Я перечитываю телеграмму несколько раз, и слова бессмысленно прыгают у меня перед глазами.

«В Хельсинки вошли войска германского кайзера, призванные на помощь финской буржуазией... Героическая защита красногвардейцев. Зверское уничтожение рабочих!»

Нет, этому поверить невозможно.

«Число убитых и замученных...»

— Теперь вы понимаете, в чем дело? — уже тепло спрашивает председатель. — Это несчастье, большое несчастье!

— Пропусти нас тогда на Петроград, — сказал каменный голос комиссара.

Председатель при нас по телефону отдает распоряжение о пропуске, и мы выходим на улицу.

Карвонен идет молча. А день, словно назло, солнечный и теплый.

Поезд уже давно отошел от Череповца, а комиссар сидел на скамейке в своем купе и молчал. Потом привстал, снова сел и сказал мне:

— Эйно, может быть, это неправда? Послушай, может быть, это неправда!

— Товарищ Карвонен, — отвечал я ему, — товарищ Карвонен, может быть, только Хельсинки пал, а Виипури наш, Турку наш, Тампере, Ваза еще наши! Наши отряды, наверно, дерутся — они сбросят в море немцев!

Карвонен провел ладонью по лицу, словно снимая тонкую паутинку.

— Должна же наконец и в Германии быть революция. Да, должна! — Он стукнул кулаком по столику так, что подпрыгнул железнодорожный справочник, и вышел из купе.

Я остался один. Как же это так? И как об этом я сумею рассказать своим красногвардейцам? И что тогда делать мне? Что делать им?

Но это, может быть, еще и неправда?

С каждым часом, который приближает нас к Петрограду, становится все яснее, что это правда.

Да, мы потерпели поражение. Но не уничтожены. А если не уничтожены, мы еще можем победить! Мы еще победим! Но сейчас?

Если бы хоть ты была рядом...

Красногвардейцы моей поезда бригады все время молчат... Молчат комиссар, и Туомио, и Айрола, и Лейно...

Даже Ваня Заливин и тот перестал насвистывать свои частушки.

Я знаю, почему молчит комиссар.

Почти на каждой станции встречаются наши паровозы, наши черные вагоны. Они набиты всяким добром. В одном эшелоне, шедшем на Буй, ехали люди. Но нам нельзя было остановиться, чтобы порасспросить. Может быть, в этих вагонах проехали семьи многих из нас, родные, жены, дети; может быть, ехала ты?

Вот, вот он — начальник охраны первого поезда с хлебом.

Он стоит на перроне и громко разговаривает с Туомио и Ханной. Я подхожу ближе и слышу обрывки речи:

— Наш поезд в Хельсинки встречали цветами. Устроили в самом большом зале торжественное заседание, и после были танцы до самого утра, и цветы, цветы... Наш хлеб пошел в оборот. Ему так обрадовались!

Нет, я не могу всего этого слушать спокойно. Я отбежал в сторону.

Наш хлеб! Для чего мы так работали, чтобы доставить его!... Лучше бы там, в боях, в боях в Хельсинки, перед смертью выпустить сотню пуль в белых...

Товарищ громко продолжает свой рассказ:

— Тогда мы решили угнать от них все, что возможно, — все паровозы, все грузы, все вагоны, мануфактуру, бумагу, олово, цинк, масло... Пусть получают пустую страну без людей и товаров.

Он кончает свою речь, с отчаянием взмахнув рукой.

Тогда я подхожу к нему и спрашиваю, передал ли он мою записку тебе.

Он смущается и говорит, что не видел тебя, потому что ты в те дни, когда он был в Хельсинки, была на фронте.

Поезд идет...

Через несколько часов будет уже Петроград, если нас не задержит Званка.

Говорят, в Петрограде очень много финских беженцев-рабочих.

— Переведи ему, — просит меня, утирая передником глаза, Ханна. — Переведи твоему приятелю, что рассказали мне беженцы на станции про наших женщин в Хельсинки.

Я перевожу Ване ее слова, и меня наполняет ненависть.

— «Наши дрались до последнего. Знаешь, у нас в Хельсинки есть Длинный мост. По этому мосту мы ходим из своих кварталов в центр... Наши заняли хорошую позицию у моста. Защищали этот переход. И три часа белые ничего не могли сделать с нами. Три часа не могли продвигаться ни на метр.

Они предъявили ультиматум.

Наши ответили выстрелами.

И через полчаса белые снова начали наступать.

Господи! Что это было за наступление! Мерзавцы! Мясники! Они поставили перед собою женщин, захваченных в плен сестер милосердия, детей и, подталкивая их, стали — шаг за шагом — продвигаться по мосту.

Они стреляли в наших, скрываясь за спинами наших женщин...»

— Ты все ему переводишь, Эйно?... Да?

— «Так вот, женщины плакали и кричали и не хотели двигаться вперед. Их подталкивали штыками. А наши мужчины молчали. Ружья отказывались стрелять по своим. И было так тихо, что можно сойти с ума. И тогда одна из женщин не выдержала и закричала красногвардейцам:

«Стреляйте, товарищи!»

И тогда наши товарищи стали стрелять. Ружейный залп и треск пулеметов не могли заглушить вопля и стонов детей, матерей, пленных. Они не могли заглушить стонов стреляющих красногвардейцев.

Наши отбросили мясников с моста. Но потом они все-таки обошли наших. И вот... вот нам уже не приехать домой, Ваня...»

Ваня молчал.

— Ему не понять, что значит остаться без родины, — говорит Айрола и показывает на Заливина.

Я перевожу эти слова Ване.

— Без родины? — отвечает изумленно Ваня. — А это что? — И он показывает в окно, в котором мелькают необозримые просторы и леса России. — Это вам будет родина... А потом, и в Финляндии не всегда буржуи будут, — утешая, добавляет он.

И снова умолкает. И так мы молчим до самого села Рыбацкого.

Когда поезд подходит к станции, Ханна говорит:

— У меня на Длинном мосту застрелена сестра.

Она уходит в купе, плечи ее вздрагивают.

Нас по передаточной ветке переправляют на Финляндский вокзал. На всех путях видны наши классные вагоны и черные товарные.

— Мне как-то неловко идти к себе домой, когда у вас нет дома, — говорит мне Ваня. И, подумав, добавляет: — Я останусь с вами — не прогоните?

Как разыскать мне тебя, Тюне?

Никому неохота выходить из вагонов. Так и сидим в поезде, и со всех сторон приходит к нам люди и рассказывают, рассказывают все новые подробности, все новые случаи.

Да будут прокляты лахтари!

Да будет проклята навеки рука, направляющая немецкие штыки!

Комиссар возвратился из Наркомпрода.

Хлеб, который мы привезли, пойдет нашим эмигрантам и питерским рабочим.

Он, комиссар, предложил свои услуги Народному комиссариату продовольствия по организации маршрутных продовольственных поездов. Кто из нас желает — может остаться и работать на этих поездах...

И комиссар встает и идет к себе в купе, запирается... и целый день не выходит оттуда.

К нам на поезд пришел Линола. Он отыскал меня. Мы так обрадовались друг другу, что даже обнялись.

— Ну, как было дело с сенаторами?

Он возмущенно махнул рукой:

— Слишком мягкие, нерешительные люди в наших штабах сидели. Смелости не было... Надо бы у русских товарищей лучше поучиться!... Вот и прошляпили мы нашу революцию. Когда еще теперь снова будет... Доложил я в штабе обо всем, что мы с тобой раскрыли. О сенаторских

болезнях: почки и печень. Фабианская. Частная лечебница Кельберга. А в штабе даже не почесались. Начальник записал себе что-то в книжечку. «Будет приказ арестовать?» — спросил я. А он только рукой замахал: «А зачем, если они активно против нас выступят, тогда, конечно дело другое, придется арестовать». Ну вот они и выступили. Эх, ротозей!... — И Линола злобно выругался.

— Не знаешь, Линола, — с замиранием сердца спросил я друга, — где сейчас находится Тюне?

— Так тебе этого еще сказали? — изумился Линола и, глядя куда-то мимо меня, сказал: — На Длинном мосту...

И мы молчали, сидя рядом в купе, до поздней ночи.

Как же это может быть? Неужели писал я эти листки мертвой! Тюне, ты должна быть живой! Ты жива, Тюне!... Тюне! Тюне! (неразборчиво).

Линола остался ночевать у меня в купе.

— Мы еще им покажем! — сказал он, засыпая. — Мы разбиты, но революция должна жить!

Я всю ночь не спал. А утром мы вчетвером пошли на Сампсониевский проспект и записались добровольцами в социалистическую Красную Армию — Линола, Ваня, Айрола и я.

1934